

Сергей Игнатьев Софья Ролдугина



ЗЕРКАЛО ВОДЫ

水 雲 氷 川 涙 血 海 雪 沢 酒

Зеркало (Рипол)

Сергей Игнатьев

Зеркало воды

«РИПОЛ Классик»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Игнатъев С.

Зеркало воды / С. Игнатъев — «РИПОЛ Классик»,
2019 — (Зеркало (Рипол))

ISBN 978-5-386-12287-4

У воды множество форм. Это и мрачные грозовые облака, и безмятежность заснеженных полей севера, и неудержимый поток горной реки, и первый лёд – прозрачный и хрупкий... Вода – самое беспощадное зеркало, что выявляет и доблести, и пороки. Не клянись на крови, не проливай слёз – вглядись в зеркало воды, слушай её рассказы.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-12287-4

© Игнатъев С., 2019
© РИПОЛ Классик, 2019

Содержание

Зеркало воды	6
1. Чистой воды глоток	7
Сергей Игнатьев	7
Софья Ролдугина	13
2. Облака высоко	17
Сергей Игнатьев	17
1	17
2	18
3	19
4	20
5	21
6	22
7	24
Софья Ролдугина	25
3. По тонкому льду	28
Сергей Игнатьев	28
Софья Ролдугина	34
4. Великая река	38
Сергей Игнатьев	39
Софья Ролдугина	48
5. Слезы	56
Сергей Игнатьев	57
1. Филипп «Видак» Ворсотеев	57
2. Валерий «Теннис» Кольбец	58
3. Софья «Барби» Багревская	60
4. Арсен «Мафон» Царбумян	60
5. Эрнест «Акциз» Громеев	61
6. Федор «Сникерс» Завятский	61
7. С. И. Урманяк («Фикус»)	62
Софья Ролдугина	64
6. Кровь	73
Сергей Игнатьев	73
1. Посев	73
2. Прививка сеянца	76
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Сергей Игнатьев, Софья Ролдугина

Зеркало воды

© Игнатьев С., 2019

© Ролдугина С. В., 2019

© Щербинина А., иллюстрации, 2019

© Демина Л. Д., составление, 2019

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

Зеркало воды

*...О, зеркало, – холодная вода
Кристалл уныния, застывший в льдистой раме!
О, сколько вечеров, в отчаянье, часами,
Усталая от снов и чая грёз былых,
Опавших, как листья, в провалы вод твоих*

Лето, 1904, Малларме (в пер. Волошина)

Вода никогда не лжёт.

Скрюченная старушка выходит из лесных зарослей. Она почти слепа и бредёт на ощупь, на звук – на плеск дождя по реке. Тяжело садится на выступающую корягу и, щурясь, всматривается в зыбкий силуэт на воде.

Плеск воды умиротворяет. Силуэт проступает яснее – теперь, согнувшись в три погибели, почти касаясь воды, старушка может разглядеть собственное отражение: глубокие морщины, редкие седые пряди, спутанные и мокрые; лицо похоже на сморщенное печеное яблоко.

Она разгибается – капли дождя смешиваются со слезами, холодят лицо – тоска по утраченной молодости и красоте.

Вода – это жизнь. Она прозрачна и ничего не скрывает. Она мутна и таит в себе неразрешимые тайны. Новый звук примешивается к монотонной дождевой мороси и шелесту мокрой листвы. Звонкий смех, в котором слышатся одновременно и журчание ручья и грозный треск льда – нечеловеческий смех.

Речной дух откликнулся на молчаливый крик. Переменчивый и лживый, как изгибы водяных струй. Честный и простой, и непознаваемый – как недостижимые облака, плывущие высоко-высоко в небе.

Сморщенной щеки, оставляя влажный отпечаток, касаются призрачные губы. Мы находим ответы в сонном движении рек и беспокойной ряби морских волн. Мы теряем ответы на дне стакана, тонем в трясине, захлёбываясь слезами и кровью. Находим и теряем, разочаровываемся и отчаиваемся, верим, верим...

Русалка пьет воспоминания, тянет, смакуя, как терпкое вино, утоляя извечную жажду своего рода. Вода тушит похмелье влюблённых сердец и пожары минувших войн. Забирает груз прожитых лет – сгорбленная спина старушки распрямляется. Растворяет яд прежних обид – морщины разглаживаются. Рассеивает дурман совершенных ошибок – тусклые слепые глаза вновь мерцают синим льдом.

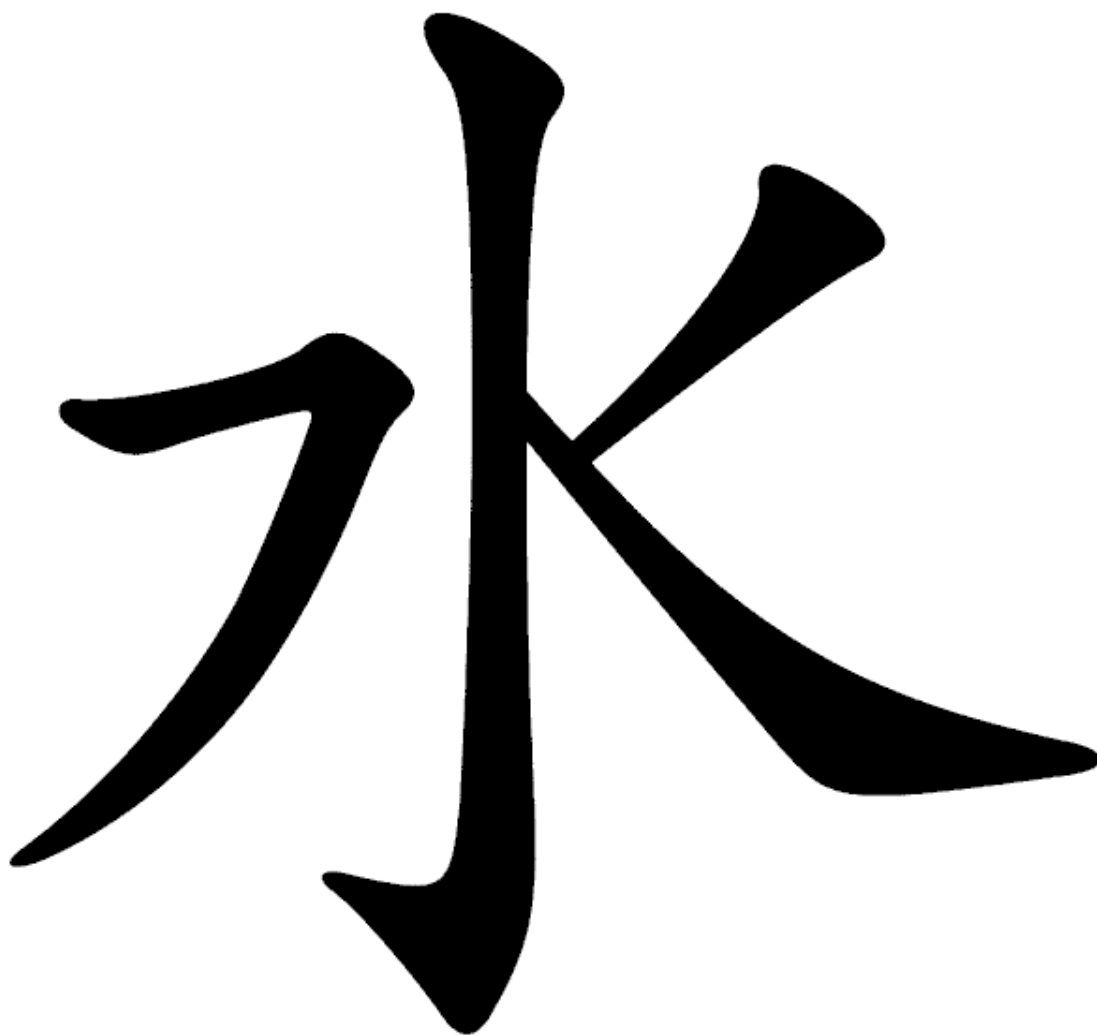
Поцелуй русалки холоден, горек и затхл, как изнанка прожитых лет. Он опьяняет, излечивает и ускоряет ток крови. Девушка вскакивает с коряги, касается ладонями горячих щёк, встряхивает гривой густых волос, поднимая целое облако брызг. Оглядывается, задыхаясь от счастья и изумления – но на речной глади лишь расходящиеся круги.

Вода никогда не лжёт. Она всегда и никогда, везде и нигде. Загляните в её зеркало, не бойтесь отражений. В конце концов, это ведь просто вода.

1. Чистой воды глоток

Земля – водная планета, на которой качество воды определяет качество жизни. Хорошая вода – хорошая жизнь. Плохая вода – плохая жизнь. Нет воды – нет жизни.

Питер Блейк



Сергей Игнатъев
Тотопка. Темр

Медведя звали Тотопка. Происхождение его имени совершенно забылось, внешность его была самая отталкивающая, а биография – примечательная.

Он верой и правдой служил еще моему деду, который в те крайне отдаленные времена был страстным поклонником Жюль Верна, пиратов и прочей поэзии дальних странствий, отчего медведь носил прозвище Штурман.

В эпоху отцовского детства медведя ждала в некотором смысле опала. Он был отодвинут на дальний план японскими роботами-трансформерами, солдатами и действующими моделями боевой техники и практически забыт.

Ко мне он попал по бабушкиной протекции, в тяжелую пору моей борьбы с вирусным гриппом. Вдохновенно окрещенный Тотопкою, медведь был тотчас принят на борт и зачислен в команду линкора. Линкор стоял на приколе, в глухой обороне, укрытый толстым ватным одеялом, укрепленный по своему периметру (если такой термин применим к кораблю) подушками, был непрестанно обстреливаем микстурами и горькими сиропами, чьи батареи выстроились окрест, непрерывно атакуем волнами противных на вкус полосканий и бурунами использованных носовых платков.

Кроме Тотопки на борту уже находились: вполовину изрисованный альбом с очкастым Гарри на обложке, разноцветные карандаши в ассортименте, две зачитанные иллюстрированные энциклопедии, потертый КПК, лорд Вейдер с парой верных штурмовиков, робот-аннигилятор с оторванной ногой, скрывающий в своем животе грелку плюшевый лось по прозвищу Синяк, и плюшевый же пес по прозвищу Собака.

Некогда медведь был темно-шоколадного окраса, но выцвел до светлых карминовых тонов. К грушевидному телу его крепились несколько коротковатые лапы и голова, напоминающая перевернутую луковицу. Глаза у него были маленькие и янтарно-желтые, немного помятые уши скорее подошли бы пинчеру, а нос был тщательно заштопан черной ниткой.

Словом, он был урод.

Но внешность на мое отношение к нему никак не влияла.

Медведь Тотопка был исконным обитателем академической квартиры с окнами на проспект. Он был молчаливым свидетелем моих многочасовых сидений над книгами из обширной дедовской библиотеки, и перед монитором компьютера, и над тетрадами с домашним заданием. Он был свидетелем бесславной эпопеи с фортепианными уроками и даже того постыдного эпизода, в котором фигурировали футбольный мяч, бронзовый бюстик академика Павлова и китайский фарфор, о котором, как я надеялся, не знала больше ни единая живая душа...

Думать о Тотопке я начал, перестраиваясь на правый ряд и сворачивая на съезд с Восьмого транспортного. Дождь моросил почти без перерывов со вчерашнего вечера, сплошной поток машин уплывал в туман, и где-то там, в тумане, мигал огнями строящийся у развязки молл-центр. В салоне моей старушки-«Печоры» резвились невидимые Men Without Hats со своим Safety Dance. Над съездом тускло флуоресцировала партийная растяжка с лозунгом «инновации – в жизнь». Скользя взглядом по логотипу с медведем, я дал газу, «Печора», взревев, пошла под уклон, а воспоминания уже понесли меня к давнишнему приятелю Тотопке, тоже, в своем роде, медведю.

Теперь я стоял в пробке, впереди помаргивали красные габариты автобуса продуктовой доставки, и размахивающий пиццами клоун на ее крыше выглядел под дождем хмурым и злым.

Я думал о Тотопке.

В тот вечер, когда медведь со своего наблюдательного пункта на книжной полке имел удовольствие лицезреть мое возвращение с выпускного – красная лента через плечо, пиджак измазан штукатуркой, в руке ананас (откуда? – вряд ли уже узнаю), судьба моя была уже определена. Ну, кем прикажете становиться тому, чья бабушка в тот же выпускной вечер перечитывала конспект будущей лекции по нейрохирургии на рейсе «Москва-Сиэтл»? Чей дед, в то же самое время, выставив перед собой уже продезинфицированные и обтянутые латексом руки, рассказывал медсестре, подносящей ему на зажиме сигаретку, шутку про старичка и противовоспалительные свечи... А родители, последние романтики неромантической эпохи, почти не принимавшие участия в моем воспитании, в обнимку тряслись в тот же вечер (который у них там был уже утром) под косыми струями тропического ливня, в кузове грузовика, набитого ящиками с вакциной и солдатами в мокрых белых касках с черными буквами UN...

Поэтому, вполне естественным было, что следующие шесть лет в янтарных глазках медведя отражался мой скособоченный профиль, клюющий носом над кирпичом фармакологии, и развешанные по всей комнате для запоминания страницы анатомических атласов, похожие

на рекламный проспект мясокомбината, и доносился до Тотопки сквозь стеклянную дверцу шкафа монотонный бубнеж зубримой мной латыни, порой прерываемый смачным зевком...

Позади раздалось улюлюкание сирены, я посмотрел в зеркало заднего вида. Сквозь нити дождя плеснули красные и синие сполохи. По разделительной, маневрируя между бортами застрявших в пробке машин, продирался автобус «скорой». Отсюда было рукой подать до госпиталя Гольдштейна, где мне часто приходилось бывать. Особенно часто после произошедшего с дедом четыре с половиной года назад. А когда все утряслось, и он начал работать там же, несколько раз звал в гости, но все появлялись какие-то неотложные дела, и все было некогда. Скорее всего, он и сейчас находился там, на очередной смене. Проведать что ли старика, подумал я. Хотя зачем – только зря отвлекать...

Пробка тронулась, поток медленно пополз вперед.

А я снова думал про Тотопку.

Когда я проходил интернатуру, покинув родительский кров, медведя со мной не было. Не видел он той ночи, когда я потерял первого пациента, и пытался в одиночку справиться с этим при помощи бутылки плохого коньяка, не видел он ни Оксану, ни Марину. И Катю он не видел. Впрочем, ее я приводил знакомиться с дедом и бабушкой – так что он ее вполне мог оценить со своего неизменного места во время торжественного чаепития в гостиной (она же – бывшая Славина комната). Катя тогда тоже оценила – все великолепие академической квартиры – и потом иногда смотрела на меня другим, новым взглядом, что-то вроде «теперь то понятно...», хотя, что ей могло быть понятно?

Когда всем стало ясно, что хирурга, продолжателя династии, из меня не получится, когда закончились укоризненные взгляды и многозначительные кивания головой, а я прочно обосновался в приемном сорок второй клинической, начал понемногу публиковаться, и уже подумывал о создании домашнего очага – тогда же Тотопка переместился в мою холостяцкую квартиру. Там же временно обрелся уже успевший погубить свой брак Туркин. Ему медведь пришелся по вкусу: «апупейный зверь, Спасский, нечто былинное!»

Следовательно, Тотопка мог видеть и мой исторический разговор с Гольдштейном, который в своем экстравагантном духе позвонил мне прямо домой, неизвестно в какой базе данных откопав номер. Впрочем, его исследования уже тогда курировала Контора, и какие только базы ему не были доступны...

Когда я перешел на стажировку в гольдштейновский НИИ, Туркин уже съехал. Требовал подарить медведя на память о нашей холостяцкой жизни, но я был непреклонен. Спустя несколько месяцев в квартире начала обживать Алина, которая довольно быстро потребовала избавиться от «этого чудища». Тотопка был заточен на антресоли, в картонную коробку, где навсегда упокоились и другие предметы из закончившейся холостяцкой эпохи, вроде моего форменного халата со стихотворным автографом Сидорчука или разборной модели черепа «артикул 291», который долгое время стоял у нас с Туркиным на холодильнике, и даже того экстравагантного подарка Туркина (сколько секс-шопов он тогда облазил, интересно?) на мой день рождения, который вызвал у Алины настоящую истерику.

Томясь в коробке, Тотопка не видел всех тех вечеров и утр (выходных у нас почти не было), которые сопутствовали моему пребыванию в группе Гольдштейна. Уже вышли первые статьи Сугимото, и американцы синтезировали первые образцы ELV, немедленно окрестив его «Элвисами». А у нас были только наброски, наброски, первые формулы закрытого цикла, только приблизительные схемы репликаторов.

Во время нашего с Алиной бракоразводного процесса Тотопка уже занял положенное ему место – на телевизоре, рядом с моделью черепа «Артикул 291». Подарок Туркина был слишком экстравагантен даже для этой композиции, символизирующей новый виток моей холостяцкой жизни, тем более, я рассчитывал, что квартиру в скором времени снова начнут посещать женщины.

А потом нам стало не до женщин. Нам стало вообще ни до чего кроме работы, потому что у нас наконец- то стало что-то получаться.

Мы завершили тестирование КРЗЦ-4 (клеточный репликатор закрытого цикла) «Горбун» и результаты оказались блестящими. Результаты были самое что ни на есть «Оки-токи», как я любил говорить в глубоком детстве. После провала «Царевича», после гибели любимчиков лаборанток всех возрастов – кроликов Грина и Росса, после катастрофы с КРЗЦ- 3 «Василиса», из-за которой Гольдштейн не пошел под суд только потому, что единственным пострадавшим и истцом мог быть лишь он сам... У нас наконец получилось.

Тотопка был свидетелем моих взлетов и падений, моего триумфа. Он кочевал со мной с квартиры на квартиру, пока, наконец, не осел в свежестроенном семейном гнезде – загородном доме под Истрой. Дети мои не проявляли к нему никакого интереса, а для меня он так и остался каким-то неразгаданным символом – может, моей собственной жизни, может – жизни вообще.

Так я думал, переживая пробку на съезде с Восьмого Транспортного в сторону области.

Дождь выбивал по стеклу монотонную дробь, с шипением ползали дворники. В сумрачной дождливой дымке впереди мигали цветными огнями предупреждающие знаки дорожных работ. Старушка-«Печора» утробно ворчала, нетерпеливо дожидаясь возможности сорваться с места, втопив на все свои семьсот лошадиных и семь тысяч оборотов, а из динамиков торопились на волю первые (самые заводные!) аккорды незабвенной Baba O'Riley группы The Who.

Наконец снова тронулись, съехали на трассу, я перестроился в левый ряд. Впереди и слева, за разделительным барьером, на встречной, густо загудело, яркие огни прорвались сквозь завесу дождя...

...Все остальное происходило уже не со мной, а с кем-то другим, на кого я смотрел как бы со стороны. А может, и не смотрел, может просто в последних искрах угасающего рассудка пришли картинки, которые мне приходилось видеть и до этого, сложились в последнее завершающее мозаичное полотно.

Кого-то другого под вой и улюлюканье сирен, в чередовании красных и синих вспышек, вытаскивали из покореженного металла, из сложившейся гармошкой «Печоры», которая была, конечно, отличной тачкой, но столкновение в лоб с вырвавшейся на встречу фурой оказалось не по зубам даже ей...

Кто-то другой трясся в карете «скорой помощи», несущейся к ближайшему госпиталю, носящему фамилию Гольдштейна. Человека, совершившего самый блестящий прорыв в медицине XXI века. Моего бывшего начальника, моего извечного наставника.

Все это происходило с кем-то другим, сжатым в корсете и ремнях, летящем куда-то сквозь шум приемного отделения, под грохот колес каталки по кафельному полу, под бормотание фельдшера, нависшего сверху с капельницей на вытянутой руке...

Над кем-то другим срывающимся голосом спрашивал мальчишка-интерн в забрызганной чем-то темно-красным мятой голубой робе:

– Сколько «скорых» уже?

– Шестнадцатая на подходе! Там на трассе звездец вообще.

Не мое, а чье-то другое тело мучительно содрогнулось, когда каталка налетела на угол операционной. Это другое непослушное тело сотрясали конвульсии. И какой-то рыжий в белом халате, со злобным перекошенным лицом (наверняка дежурный ординатор) орал, подбегая:

– Сюда его, живо!

Дыхательная трубка входит в горло. Обтянутые латексом руки цепляют на грудь электроды кардиографа.

– Несколько минут назад произошла остановка дыхания.

– Имя узнали?

- Сейчас, тут бумажник. Станислав Спасский. О, Боже! Это что же...
- Тот самый?!
- Не отвлекайтесь! Согласие на «керзац» подписано?
- Сейчас, дайте... Нет, нету!
- Как это нету?!
- Надо связаться с родственниками...
- Погодите! У нас какой-то Спасский работает, я слышал вроде родно...
- Беги за ним, быстро!
- Давление двести двадцать на девяносто...
- 3-зараза!
- Подключаемся к системе искусственного кровообращения...
- Давление растет! Систолическое – двести тридцать!
- Фибрилляция!
- Давление падает!
- Электрошок на четыре тысячи... От стола!
- Без изменений...
- Пять тысяч... Все назад!
- Нет пульса!
- Еще раз! Все в стороны!!!

Кто-то другой наблюдает за происходящим со стороны. Или может это последние вспышки умирающего рассудка? Я много раз видел, как это бывает, много раз участвовал в этом. Но только находился не на столе, а возле него – с контактами наготове, с закушенными под марлевой повязкой губами, с взмокшим под надвинутой шапочкой лбом, в запотевших защитных очках, со скальпелем и секционным ножом, с реберным расширителем и тампоном в зажиме, с раскрытой картой и шелестящей лентой диаграммы в руках, с переполненной «уткой» наголо – как угодно, но ВОЗЛЕ стола, а не НА столе.

Ломаная линия кардиографа, которая превращается в прямую, запах паленого мяса. Контакты в сторону, руками на грудь, непрямой массаж сердца. Мгновения уходят, монотонный электронный писк.

- Все.
- Запишите – смерть наступила в девятнадцать часов пятнадцать минут.
- Щелкают стягиваемые с рук перчатки. Каталка стучит колесами по кафелю.
- Лязг раздвигаемых дверей.
- ГДЕ ОН???
- Кого вам?
- Где Спасский?!
- А, увозят уже. А вы из «керзац»? Кто вас вызвал? У него согласие не подписано.
- Это я его вызвал! Он родственник.
- Извините, не знал... Так куда, в морг?
- К нам в отделение везите его. Срочно!
- А согласие?
- Это же Спасский, это он... Он же у истоков стоял! А в бумагах ничего...
- Странно. Как если б Эдисон при свечах писал.
- Разбегаев, помолчи... Забирайте его. Только степень родства уточним давайте, и подпись ваша нужна. Вы ему кто?
- Я его дед.
- Кх-кх... то есть, как? Но вы так молодо...
- Несчастный случай. Четыре с половиной года назад. Тоже через «керзац» пропустили.
- А, извините.

- Ничего. Я привык... Ладно, я сам его к нам отвезу. Подпись тут?
- Да, где галочка...
- Ну, счастливо.

...вокруг ярко, светло. В просветах штор на окнах виднеется что-то зеленое, солнышко там светит. Вокруг белые стены, какие-то штуки торчат непонятные, экраны какие-то. Проводки разноцветные кругом. Весь я в этих проводках, и поверх одеяла, и под ним, и от меня они тянутся – и под кровать, и к какой-то бутылки длинной, которая стоит на длинном штыре слева.

И больше всего на свете хочется пить.

Губы слиплись, в горле печет.

– Пи-и-ить!

Выросли откуда-то двое здоровенных. Один лысый и в белом, а второй – в зеленом, лохматый, краснощекий, с какой-то штуковиной на шее. Блестящий кругляш с одной стороны, провод, и с другой рогатка блестящая. В руках он держит коричневого уroda. Вот уж непонятно для чего такое понадобится может! Он кажется знакомым – нет, не урод, а дядька этот в зеленом, с красными щеками.

– Дяденька, пить хочется!

– Нельзя, Славка! – говорит зеленый-лохматый сочувственно, сдвинул одеяло, вставил себе эту блестящую рогатку в уши, а кругляш мне к груди приложил.

– Холодно!

– Потерпи, дорогой. Потерпи немножко... На вот... Тычет мне своего уroda.

– Что это? – спрашиваю.

– Это же Штурман, – скалится зеленый, подмигивает. – То есть... Топотка же твой. Узнаешь?

Не узнаю. «Попка» еще какая-то, глупости блинские!

– Пить очень хочется, – повторяю я просительно.

Зеленый смотрит на меня, потом на белого, потом опять на меня. Кладет мне на плечо здоровенную ручищу:

– Дадим пить, дадим... Славка, а ты что – не узнаешь меня?

«Легкие остаточные эффекты, должен вспомнить...», бормочет белый. Сам с важным видом уткнулся в листки какие-то, громко ими шуршит.

Зеленый все тычет в меня своим уродом.

– Уберите от меня этого... страшного, – прошу я.

Зеленый хмыкает, убирает.

Сглотнув всухую, говорю:

– А это у вас что?

– Эм-м? – зеленый морщит лоб, вертит в руках эту свою «попку» или как там ее, потом наконец замечает эту штуку у себя на шее, про которую я и спросил. – А-а... это... Это, Славка, фонендоскоп...

Он откладывает коричневого, снимает с шеи этот свой «фо-не-не-скоп», протягивает мне. Потом косится на белого. Белый от бумажек оторвался, улыбается, на меня глазами сверкает. Зеленый ворошит мне волосы рукой, скалится тоже. Вид у них прямо счастливый. И хотя ужасно хочется пить, мне тоже становится веселее. Думаю, все будет Оки-токи...

Софья Ролдугина

Та, что всегда возвращается

Это случилось, когда на пустыре за стройкой вдруг расцвели одуванчики – в самом конце октября.

Сквозь жухлую траву сначала пробились листья – крепкие, разлапистые, похожие на жадные растопыренные ладошки. Два дня они ловили скудный осенний свет, сберегая каждую каплю, а потом из последних сил вытолкнули наружу тугие зеленые кулачки бутонов. В понедельник утром, когда Марисоль шла на рынок, они еще были плотно сомкнуты. К обеду – приоткрылись, робко желтея среди жухлой травы. А в четверг весь пустырь накрыло солнечное, горьковато пахнущее одуванчиковое одеяло. Дети с гиканьем носились среди цветов и хохотали – на головах венки, как короны, руки перепачканы млечным соком. Позабытые рюкзаки с учебниками и шапки были свалены в кучу на краю пустыря.

– Чудно же... Одуванчики накануне зимы, – пробормотала Марисоль и даже остановилась посмотреть. Правда, ненадолго: старые кости ныли от долгой прогулки и холодного ветра. – Эге! Да там же младшенькие Петры бегают! В самый разгар школьных занятий! Надо к ней заглянуть, что ли, предупредить...

Сказано – сделано. Благо жила Петра всего-то через улицу, и камин у нее был даже уютнее и жарче, а кресла – мягче, чем у Марисоль.

Старую подругу Петра встретила с радостью. Попеняла немного, что та редко заходит – уже два дня не была в гостях, негодница! – но все равно заварила вкусного чая с вишневыми и смородиновыми листьями, достала из буфета вазочку с тягучим гречишным мёдом и пачку кунжутного печенья. Все три Петрины кошки – Урд, Верд и Скульд – тут же сбежались к столу, хотя прекрасно знали, что подачек ждать от строгой хозяйки – пустое дело.

– Видела твоих правнучков, – наябедничала Марисоль, почесывая за ушком пушистую Урд. – Носятся как угорелые. Прямо на пустыре, представляешь? Среди этих чудных одуванчиков!

Петра по обыкновению ничему не удивилась – ни цветам в октябре, ни правнучкам, сбежавшим с уроков. Только задумалась о чем-то.

– Подожди-ка здесь, – попросила она. – Попробую позвонить Михелю.

Михель был директором школы и – когда-то невероятно давно – Петриным неудачливым ухажером.

– Позвони, позвони, – сонно закивала Марисоль, а потом подумала, что это немного слишком – жаловаться директору из-за одного-единственного прогула. В конце концов, такое уж дивное время – детство, когда одуванчики на соседнем пустыре важнее математики, истории и черчения вместе взятых.

Петра скоро вернулась – разом постаревшая лет на десять, хотя куда уж, казалось, больше. Она растерянно замерла на пороге комнаты, а потом, поджимая сухие губы, поковыляла к буфету. Неловко провернула ключ в скважине, отворила дверцы и достала плоскую, широкую бутылочку из темно-розового стекла.

– Черешневый ликёр, – пояснила Петра, тяжело опускаясь в кресло. – Хочу в чай себе капнуть немножко. Да и тебе не повредит... Михель вчера умер. Вот сегодня детишек из школы и отпустили...

– Дела-а-а, – только и сумела произнести Марисоль.

Отчего-то сразу вспомнилось, что Михель был старше ее всего на три года. Почти ровесники... Получается, что из их довоенного выпуска остались только двое – она да еще Петра.

Михель на здоровье не жаловался. А у нее, Марисоль, и сердце пошаливает, и кашель давно наваливается по утрам...

– Соседка видела, – произнесла вдруг Петра странно хриплым голосом, – что к нему накануне приходила цветочница.

Марисоль поперхнулась чаем.

– Кто-кто?

– Цветочница. Вроде бы молодая женщина в синем пальто и с корзиной, полной одуванчиков.

– Постой-ка, – нахмурилась Марисоль. – Что-то больно знакомо все. А в том году, когда хоронили Вальхена, разве не было у могилы корзины с одуванчиками?

– Была, – вздохнула Петра, потерянно скреживая на груди сморщенные руки. К чашке с чаем она даже не притронулась. – Каждый год одно и то же... А я ведь знаю эту женщину, Мари. Ту, которая возвращается снова и снова, и цветы у её ног распускаются даже зимой.

«Кто это?» – хотела спросить Марисоль, но гортань словно онемела. А Петра продолжала говорить и говорить, уже не слишком заботясь о том, слушают ли ее. Так, как будто важнее всего в этот миг было излить слова, долго-долго копившиеся внутри, а что потом – неважно.

– ... В последний раз я видела ее пять лет назад, у дома Кальвина. Все то же синее пальто; лицо молодое, как у моей младшей внучки; шляпа надвинута на самый лоб и за вуалью не видно глаз. В правой руке – корзина с цветами, а в левой – школьная тетрадь, желтая от времени. Готова клясться, там записаны имена, и ничего больше. Может, и мое есть... Я тогда испугалась страшно, но та женщина просто улыбнулась и покачала головой – еще не время, мол. И постучалась в дверь к Кальвину.

Марисоль зажмурилась. Похороны Кальвина, кажется, только вчера были... и слишком цепкая память вдруг некстати воскресила яркую и абсурдную картинку – белый снег, плетеная корзинка и желтые цветы.

Стало жутко.

– ... А в первый раз, конечно, мы ничего и не поняли. Было это шестьдесят три года назад. Шли последние месяцы войны, но тогда еще никто этого не знал. Наоборот, думали, что она не закончится никогда... Бомбили наш городок, кажется, все, без разбору, ну да не удивительно. Ты сама-то вспомни: маленькое княжество на стыке двух громадных стран, с одного бока союзники поджимают, а с другого враг огрызается... Школу переделали в госпиталь. Я помогала Берте, царствие ей небесное, с перевязками, ну, и за легкоранеными ухаживала. Весь день бинты стирай, суши, складывай, повязки меняй, швы обрабатывай, мой- корми, лекарства подавай... К вечеру спина не разгибалась, хотя меня, младшую, старались поменьше нагружать. Война тлела, а с октября будто с новой силой полыхнула. Бомбежка за бомбежкой. И, помню как сейчас, нас шестерых – меня, Берту, Гарольда, Кальвина, Михеля и Вальхена – послали с носилками к окраине, там машина приехала, с тяжелыми. А тут обстрел начался – и застряли мы у самого Бертиного дома. Михель-то, горячая голова, хотел на улицу сунуться, да Берта его, дурака, непустила – мол, и другим не поможет, и сам пропадет. И вот сидим мы полчаса, час... А потом вроде как затишье настало. Михель на улицу выглянул – а на дорожке женщина лежит. На нашу не похожа, да и одета не по погоде – зима на носу, а бедняжка в одном синем платье. Даже туфелек нету. Только, значит, Михель к ней подбежал, как самолеты на второй заход пошли, да и орудия закашляли – союзники отстреливаться начали... Делать нечего было – только опять в Бертином подвале сидеть. Но женщину ту мы все же вытащить из-под огня успели. Смотрим – а на ней ни царапины, но лицо изможденное, осунувшееся аж до костей, синяки под глазами. А к платью желтый одуванчик приколот – махонькой серебряной булабочкой.

Урд на коленях у Марисоль недовольно заурчала и запустила в шерстяную юбку острые коготки. Зеленые кошачьи глаза сердито шурились. Марисоль растерянно погладила ее по серой шерстке и предложила кусочек печенья. Урд понюхала его, щекоча ладонь длинными усами, но есть, конечно, не стала.

А Петра между тем продолжала говорить.

– ... и было у меня такое чувство, что та женщина просто свалилась от недосыпа, голода и усталости. Ну, да мы тогда все каким-то чудом держались... Михель слазил наверх, принес в подвал керосинку, бутылъ воды и паек солдатский. Берта с Вальхеном пытались пока разбудить ту женщину... Но она лежит себе и лежит, холодная, будто камень зимой. А потом вдруг глаза открыла, вздохнула и говорит: «Ах, как же я устала... Пропади оно все пропадом!». И заплакала. Без звука, только слезы по щекам текли и текли.

Петра замолчала. Урд на коленях у Марисоль свернулась пушистым мурлычущим клубком. Чай давно остыл, а бутылочка с черешневым ликёром так и стояла неоткрытая.

– А что потом-то было?

– Что? – Петра словно очнулась и заморгала часто и сонно. Подслеповатые карие глаза шурились на светлое окошко. Кажется, снаружи начал идти снег. Первый в этом году... – Да ничего не было. Паёк она не тронула, но попила воды – и ещё попросила, словно долго мучилась от жажды. А потом свернулась клубком на глиняном полу да так и заснула. И проспала целых четверо суток. И, ты не поверишь, Мари, за это время в госпитале не умер ни один раненый, да и в городе тоже, хотя бомбежки были каждый день. Мы все по очереди заходили к ней, даже Гарольд, хотя у него- то дел хватало – старший врач, как-никак. А она иногда начинала метаться, как в бреду, и говорить что-то бессвязное: называла имена, а потом вдруг принималась жаловаться на усталость. Мы все чувствовали, что эта странная женщина в синем платье – особенная, но не могли объяснить, почему. Только Берта, похоже, уже тогда поняла что-то и сказала: «Лучше бы она спала подольше»... А когда четыре дня истекли, мы узнали, что союзники перешли в наступление и скоро двинутся на столицу. Наш город остался далеко в тылу. И тогда она проснулась.

Мурлыканье Урд стихло, и в наступившей тишине стало очень-очень хорошо слышно, как тикают большие напольные часы в коридоре.

– ... Из города она уходила рано утром, но успела попрощаться с каждым из нас. Благодарил много, улыбалась. И почему-то обещала «не заглядывать подольше». А затем – ушла, оставив на подоконнике одуванчик. Я засушила его в энциклопедическом словаре... Найти бы сейчас, да, боюсь, за шестьдесят лет цветок уже рассыпался в пыль, – Петра подперла морщинистую щеку кулаком и прикрыла глаза. – Вот еще, вспомнила. Берта говорила, что потом прямо на чердаке у нее нашли неразорвавшуюся бомбу. И когда этакая штуковина умудрилась с неба на нас свалиться, каким чудом не взорвалась... Мари, ты слушаешь?

Урд гибко потянулась всем тельцем, прыгнула с коленей Марисоль и пошла куда-то по своим кошачьим делам. Зато полосатая Скульд наконец проснулась и стала ластиться к ногам, то ли в надежде на подачку, то ли просто так, от щедрости души.

– Слушаю, – Марисоль потянулась к бутылочке, отвинтила крышку и накапала в давно остывший чай ликёру и себе, и Петре. Совсем по чуть-чуть – так, для запаха.

За Берту, за Вальхена, и Гарольда, и Кальвина, и Михеля.

И за всех, кого даже не знала по именам.

– Петра... Ты думаешь, она еще вернется?

– Конечно, – вздохнула та. – Она всегда возвращается. Сколько бы раз мимо ни проходила – однажды на огонек заглянет. Но знаешь, Мари, лично я к старости полюбила одуванчики. Очень они жизнерадостные, – невпопад улыбнулась Петра и вдруг предложила, поднимая чашку: – Знаешь, подруга, а давай-ка выпьем за то, чтобы она больше никогда так не уставала. Давай?

– Давай, – согласилась Марисоль.

Кошки опять мурлыкали – все три. Скульд и Урд – где-то под столом, за плотной шторкой вышитой скатерти. Рыжая Верд сидела у самого кресла Марисоль и довольно шурила желтые, как одуванчики, глаза.

А крепкий чай немного горчил. Даже со сладким ликёром.

2. Облака высоко

Я наблюдал за облаками... Облака – вечные изменчивые странники. Облака – как жизнь... Жизнь тоже вечно меняется, она так же разнообразна, беспокойна и прекрасна...

Эрих Мария Ремарк, «Приют грёз»



Сергей Игнатъев

Семь мгновений Ефима Зильбермана

1

Поневоле вздрагиваю, когда вспоминаю, как мы чудили в школе, такое мы там исполняли. Как вообще никто не убился насмерть – это, конечно, непостижимо. Ну и Фимка всегда

в первых рядах был. Он был уже тогда оторва. Ему это важно было как-то, будто на прочность все испытывал – себя, мир. Не боялся ничего совершенно. Чего мы не вытворяли только – классе в четвертом на спор прыгали с трансформаторной будки в сугроб. В седьмом ездили зацеперами на электричке. А Фимка – он такой, вот если все прыгнули по разу, ему надо два! Если все проехали один-два перегона, то ему надо весь маршрут так проделать. В восьмом классе был первый наш самостоятельный выезд на экскурсию в Суздаль – выпивали, джин-тоника набрали, дряни какой-то химической, так Фимка и там больше всех отличился, мы его до автобуса тащили на руках буквально. Отчаянный такой был. Безумие какое-то. Помню прицепились к нам двое старшеклассников каких-то за гаражами у школы: «Э, слышь, мелочь есть?», слово за слово. А один, мордастый такой, Фимке говорит: «ты, мол, чего мне дерзишь? Чего дерзишь, жид?» Я Фимку никогда таким не видел – ни до, ни после. Он прямо побелел весь. Кинулся с кулаками – какой-то берсерк, блин. Эти парни его отметилили, конечно. И мне досталось заодно. Но как-то перестали гопники наши школьные цепляться с тех пор. Зауважали, что ли, по-своему... Не знаю.

Фимка постоянно чем-то увлекался. Собирал марки, монеты, конфетные фантики... И так же быстро как загорался чем-то, бросал. Постоянно как-то метался... Искал себя.

Он был неспортивный, даже анти-спортивный. Но вот прочел в старших классах у Мураками эту книжку про бег, увлекся... Каждое утро бегал, независимо от погоды, в дождь, в снег бегал... Если вот он загорался чем-то всерьез – сразу непрошибаемый делался, ничем его было не сдвинуть.

Рисовал он потрясно. У нас класс был вроде как не простой, а лицейский, с уклоном в живопись, рисунок. Но Фимка всех просто на голову превосходил в этом. Всегда черкал что-то в тетрадках своих – чертежи каких-то механизмов фантастических. Был у него и свой тайный шифр – как Леонардо да Винчи, в зеркальном отражении писал...

Выдумщик он был! Но усидчивости ему никогда не хватало. Прилежание, дисциплина – это не про него. Помню, какое-то сочинение нам задали, о своем месте в жизни, а Фимка в итоге представил целый рассказ в распечатке страниц на десять. Назывался «У меня нету рогов, поэтому я лось». Литераторша наша его разбору даже отдельный урок посвятила! И мы сидели, слушали, как они с ней спорят, чуть ли не размахивая руками. Она критикует – а он ни в какую, настаивает на своем авторском взгляде. Но потом быстро забросил писанину, наскучила.

После школы наши тропинки разошлись постепенно, сперва созванивались часто, потом перестали, но слухи доходили: три универа Фимка сменил, ни в одном дольше двух курсов не продержался, в армию не прошел по здоровью, устроился куда-то чуть ли не часы ремонтировать в каморке у супермаркета... Ну, кто ж мог предсказать, как все повернется. Я вот с красным дипломом кончил, свой бизнес, семья, дом – но мою-то паспортную фотку люди себе не наносят в виде татуировки... Неисповедимы пути твои!

2

Заяц этот до сих пор перед глазами стоит. Ну, то есть кролик, конечно. Но это Ефим придумал их так называть «зайцами-побегайцами», как, помните, в мультике Татарского. Он постоянно что-то такое придумывал, отчебучивал. Все наши девчонки-лаборантки хохотали от его придумок. Его вообще в нашем Стратегическом Институте любили. Ну, во-первых, он был как бы вне системы этих всех интриг наших научных, вне конкурентной борьбы, сидел там у себя в подвале, паял схемы. Во-вторых такой приколист легкомысленный... Никто и предположить не мог, чем он в свободное время занимается, о чем мечтает.

А когда увидели – это был шок, конечно. Мне вот посчастливилось, судя по всему, первой свидетельницей этого открытия стать. Он специально так подгадал, чтоб начальства не

было, собрал нас с девчонками. Заходим – а там заяц-побегаец наш сидит. И мы сначала не поняли – что это за костюмчик у него смешной такой, ярко-оранжевый, дутый, вроде маленького спасательного жилета с рукавчиками. И цифра 7 на боку нарисована. Я потом специально еще спрашивала, а почему именно «семь»? А Ефим рассказал: «Это мое счастливое число. К тому же, это отсылка к «Лосту», который в свою очередь отсылает к кинговским мемуарам, только там у побегайца восьмерка была...» «Лост», Кинг... Для меня это и щаз далекое что-то, чуждое совсем. Никогда я фантастикой особо не интересовалась.

И вот мы с девчонками собрались, смотрим с недоумением на этот кроличий маскарад. А Ефим что-то там нажал, перещелкнул. Костюмчик этот оранжевый так раздулся шире прежнего и тихонько застрекотал, будто кузнечик. И побегаец наш оторвался от стола и стал плавно подниматься к потолку... Ленка, подружка моя, чуть в обморок не хлопнулась, валерьянкой отпаивали ее. Конечно, еще не могли даже предположить, как это все изменит, какого уровня это изобретение вообще...

Сейчас пошла волна публикаций в инете, ток-шоу этих, и какие-то совершенные небылицы про Ефима рассказывают. Будто он наркоманом был, дрался в ресторанах, что его арестовывали. Будто он гомосексуалом был – ничего подобного! Он месяца два ухаживал за мной. Деликатно очень, ненавязчиво как-то, даже не знаю – покорно что ли... С покорным ожиданием ответа. Что ни день – тащил к нам в лабу шоколадки, зефирки, мед специально какой-то нашел удивительный, такой розовый, сладкий, взбитый с малиной. Я до сих пор люблю такой покупать. Однажды набрался храбрости и в кино позвал меня. Был специальный показ фильма «Внутренняя империя» Линча. Но я этого Линча никогда не любила – мрачный, запутанный, больной какой-то. Отказалась... Да и с мужем с моим будущим у нас все в разгаре уже было, любовь-морковь, поэтому никак не могла я ответить на ефимовские ухаживания.

Первый прототип аэрокостюма презентовали уже без меня, я в декрете была. А потом и работу сменила, так сложились обстоятельства. Сколько уж времени прошло – страшно представить. С мужем вот официально развелись недавно совсем. Вот теперь иногда лежу среди ночи в пустой постели и невольно думаю, а что, если бы согласилась тогда пойти с Ефимом на «Внутреннюю империю» эту дурацкую? Как бы все в итоге обернулось? А потом услышу, как в соседней комнате старший по клавишам барабанит, чатится – успокаиваюсь. Вот оно, счастье мое теперь.

Не был Ефим ни геем, ни порнофилом, ни каким-то затворником-безумцем, как сейчас хотят представить в СМИ. Обаятельный веселый парень. Просто вот не везло человеку в отношениях. Когда я в новостях услышала, что произошло – сердце сжалось. Страшная штука одиночество...

3

Бежит сегодня с отклонением от маршрута. Одет обычно: очки, шерстяной спортивный костюм «Динамо», шапка вязаная с помпоном, кеды простые. После третьего круга у футбольной площадки, направляется к метро. 10:45 – покупает три гвоздики. Возвращается в парк, к «аллее Алисы Селезневой». 11:02 – кладет гвоздики на камень с памятной табличкой, в начале аллеи. Условный знак?

(прим. – Умники! 18 октября – Д. Р. Булычева-Можейко! Это ЗНАТЬ НАДО!)

Бежит четвертый круг. 11:13 – идет в продуктовый; купил четыре бутылки пива «Шор Канн Стронг», бутылку водки «Смородяйка», две пачки сигарет «Царь-пушка», две упаковки фисташкового пломбира, пачку макарон, пошехонский сыр, пакетированный кетчуп «Чили-Супер-Острый», упаковку туалетной бумаги и пену для бритья. Следует домой без отклонений от маршрута.

В 13:04 выходит с бутылкой пива. Садится на лавочке у пустой детской площадки. Пьет пиво.

13:19 – подъезжает автомобиль патрульно-постовой службы. Наряд проверяет у Объекта документы. Завязывается словесная перепалка. Предъявляет вместо паспорта сложенную газету со своим фото на первой полосе.

13:28 – Хотят забрать в отдел. Запрашиваю разрешение вмешаться. Отказано.

(прим. – Это что еще за самодеятельность?! Они там от скуки совсем нюх потеряли?)

13:37 Наряд ППС уезжает, заставив выбросить недопитое пиво в урну, выдав Объекту штрафную квитанцию. Квитанцию рвет и бросает в ту же урну, что и пиво. Уходит домой.

14:00 – Мл. лейтенант Тихвин снялся с поста. Заступил – прапорщик Карпенко.

С 14:00 Находится в квартире.

16:22 – возле дома визуально наблюдаю неопознанного гражданина. Ранее замечен не был. Одет: черное укороченное пальто, серые джинсы, черные кроссовки. Ходит вокруг дома. Делает снимки на айфон. Уходит.

(прим. – скорее всего, очередной фанат-«летун», впрочем, при повторном появлении – сразу прямой доклад!)

18:31 – из квартиры Объекта вылетает бумажный самолетик. Лист исписан шифром, множество зачеркиваний. Текст сопровождает стилизованные изображения самовара, веника и матрешки, а так же крупное реалистическое штриховое изображение Ф. Дзержинского. Прилагаю к отчету.

19:01 – возвращается с работы сосед объекта. Несет авоську с бутылками. Данные прослушивания квартиры: неоднократные звуки и шум подчеркнуто сексуального характера, производимые предположительно двумя мужчинами. До 21:46.

(прим. – Тихвина со всей честной компанией завтра же ко мне на разбор!! Полное ощущение, что Объект вас срисовал и теперь открыто потешается над вашей наружной и прослушкой. И правильно делает!! Отмечаю у личного состава острую нехватку профессионализма).

4

Когда умерла Ева Марковна, родная сестра моего папы, для нас всех это было большим потрясением. Но сильнее всего ударило, конечно, по моему брату. У них с матерью были особые совершенно отношения, очень теплые, по-настоящему дружеские. Он это очень тяжело переносил и, я думаю, так и не оправился. И все его проблемы с алкоголем – они оттуда. А потом это просто росло, как снежный ком. И, прежде всего, что ему не давали нормально работать. Само государство не давало...

Мы с моим братом виделись не очень часто, пару- тройку раз только приезжал на дни рождения. Марику- младшему книжку привез – «Обитатели холмов» какого- то Адамса. Но я потом посмотрела, странная какая-то книга показалась, забрала от греха. Я думаю он мечтал о своих детях, мечтал завести семью – но как это трудно в нашей стране сделать человеку его склада – тонкому, чувствующему, не такому, как все... Это не мое дело, кем он там интересовался – мужчинами или женщинами, мы должны наконец уже перестать совать свой нос в чужие постели, от варварства этого отучиться. Вон к Жану Марэ или Чайковскому нет никаких претензий у нашего плебса, а тут прям неймется им, средневековые какое-то...

Я, может, и не очень близким ему человеком была в общепринятом смысле, что мы не сидели друг у друга на шее, но всегда интересовалась его судьбой, всегда спрашивала, звонила... Еще когда сама была девчонка, много слышала от взрослых – у него всегда непростой характер был, очень непоседливый, бунтарский. Но теперь-то понятно: он с самого детства пытался по-своему противостоять Системе... Ева Марковна конечно натерпелась... В школе

постоянно приходил с синяками, со сломанной рукой – и все это объяснилось так: «поскользнулся на катке», «мячом стукнули на физре», «споткнулся на лестнице». Но понятно же для всех – его просто-напросто травили в школе. Били чуть ли не ежедневно... Как это всегда у нас происходит, если человек талантливый, если он как-то выделяется из толпы, из серой массы – быдло такое не прощает! Непохожесть эту не прощают!

И вот теперь, когда случилось несчастье, на нас льют с экранов телевизора, со страниц в интернете – все эти гадости, которые сейчас муссируются в прессе, все это грязное белье, похабная эта совершенно книжонка этого писаки Верхогляда, лживая насквозь, грязная...

И как вообще Государство распоряжается всем этим богатейшим наследием моего брата, где его рукописи? Почему я, мать троих детей, не могу получить даже ни копейки от всех вот этих многочисленных патентов его изобретательских? На кого они вообще оформлены? Кто получает проценты с этого? На Западе мой брат стал бы миллионером! А тут ютился с больной матерью в двушке на окраине Москвы. Почему нельзя привести в порядок всю эту документацию, как-то отрегулировать. Научились же штрафовать летунов как-то, наладили воздушные маршруты. Но вот у нас так всегда – когда доходит до репрессий, мы впереди всех. Аэрополицию эту придумали, но за чем она может уследить?! Вы посмотрите, что в день ВДВ творится?! Это же страшно в небо посмотреть, что происходит, без каски на улицу не выйдешь...

Кроме того, я располагаю абсолютно точными сведениями, что за ним в последние месяцы следили спецслужбы. То есть, когда это все произошло – они были где-то рядом? И ничего не сделали? Или, хуже того, не обошлось без их прямого вмешательства?! Я бы не удивилась уже...

В любом случае, его просто довели, понимаете?! Они его планомерно подталкивали к этому трагическому шагу...

Созданный мной Благотворительный Фонд ставит своей задачей донести всю эту информацию до общественности, предать как можно более широкой огласке... Особенно важно, чтоб это знали и понимали на Западе, что тут вообще творится! Чтобы оказали какое-то давление, наконец! Чтобы остановили этот беспредел! Чтобы призывать к ответственности людей, которые довели изобретателя до этого несчастья. Чтобы вернуть доброе имя несчастному брату моему Зильберману Ефиму Ароновичу...

5

«Лететь или не лететь?» – так назывался первый из серии моих постов, посвященных самобытному изобретателю и гик-идолу Зильберману, в свое время наделавший много шума в русскоязычной блогосфере.

Зильберман, околону научная рок-стар и анфан террибль, всегда отказывавшийся от интервью, человек сугубо НЕпубличный, оказал мне честь, согласившись провести несколько личных бесед. По мотивам этих неформальных встреч за рюмкой коньяка я и начал писать книгу, которую теперь представляю на суд читателя.

Когда мы рассуждаем о феномене Зильбермана, трудно отделить вымысел от реальных фактов. Образ изобретателя уже приобрел черты легендарности, в массовом сознании, подогреваемом ура-патриотической прессой, встав в один ряд с Королёвым, Калашниковым, Ломоносовым и Кулибиным.

Последствия изобретения аэрокостюма-«леташки» – от взрыва нелегальной иммиграции до разгула преступности. Лимбург-Вайльбургская авиакатастрофа и создание юридического прецедента... Влияние изобретения на массовое сознание – от субкультуры «летунов» до массовой популярности фетиш-тэта «аэропорно»...

Книга содержит интервью с людьми, чьи судьбы изменил механизм Зильбермана:

- экс-глава МПС, а ныне первый зампред Правительства, буквально спасшая страну от стихийного транспортного коллапса К. Телемичева,
- знаменитый дизайнер, выведший аэрокостюмы на новый уровень гламурного дискурса, маэстро Д. Пелагетти,
- звезда жанра макабр-метал, организатор первого «воздушного» концерта в Олимпийском Ф. Ичеткин,
- легендарный налетчик, отбывающий свой пожизненный срок за серию нашумевших дерзких ограблений Жека Гриф,
- ветеран гуманитарной миссии в Мозамбике, полковник ВДВ, крестный отец аэро-спецназа С. Булашин,
- организатор Мирового Квиддич-чемпионата и трех Общеввропейских благотворительных аэромарафонов, меценат Н. Тхакур,
- и многие другие...

Кроме того, впервые под одной обложкой собраны ВСЕ версии гибели Зильбермана!

Каковы были истинные отношения изобретателя с Властью? За что в действительности Зильбермана уволили из Стратегического НИИ? Его романы, его женщины: почему до последних дней он оставался одинок? Принадлежал ли изобретатель к ЛГБТ? Правдивы ли слухи о его алкоголизме и неоднократных правонарушениях?

Ответы на эти и многие другие вопросы я попытаюсь дать в новой книге из серии «ЖЗЛ-СКАНДАЛ» московского издательства «Аютефиск-пресс»:

АЛИК ВЕРХОГЛЯД

«IcaRUS БЕЗ ЛЕТАЯШКИ»

(РЕАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ ЕФИМА ЗИЛЬБЕРМАНА)

Спрашивайте в книжных магазинах вашего города и заказывайте онлайн
во всех сетевых букмаркетах!

6

Не-не-не, о работе его, изобретениях – об этом мы никогда не трепались. Да и о бабах тоже. Мы другое обсуждали... Это душевнейший собеседник был. Я ж его постарше годков на пять, и помню вот еще совсем шкетом. Так-то он и прожил в этой 16-этажке зелененькой нашей всю жизнь. Забавно получилось, у нас на Речном таких домов несколько. И вот наш стоит, а через квартал от него такая же 16-этажка, и в ней жил артист Георгий Милляр, который Баба-Яга, а еще через квартал в точно такой же зеленой домине – Веничка Ерофеев, величайший русский писатель... Вот и Ароныч для меня из таких людей. Такой же юморист как Милляр, такой же душевный как Веничка.

Вот эти головожопы щаз треплют его имя постоянно по телику, да и везде. Смотрел тут «Пусть говорят» по Первому. Якобы что это был суицид-хреноид. Наприглашали каких-то экспертов, емть. Да это не эксперты, а говно.

Никогда бы Ароныч не стал на себя руки накладывать.

Он шутник был. Остряк, емтыть. Вон когда ему американцы хотели вручить этого, как его, Лемельсона... Там шумихи было дохера, что он отказался. И я тоже его спрашиваю, Ароныч, ты чего это? А он:

- Саныч, ну сам посуди. Перельман не берет, а Зильберман берет... Наши не поймут!
- Или вот как-то сидели с ним выпивали, он говорит:
- А за мной, Саныч, специальные службы следят.
- Иди ты!!!
- Днем и ночью...

– Чего ж они тебя стерегут? Боятся, что ты на Запад чтоль сбежишь? Или от террористов охраняют?

– Да я вот думаю, – а сам погрузнел как-то. – Я так думаю, Саныч, что они меня от себя самого стерегут.

– И чего? Небось и щаз нас, емть, слушают?

– Да не, – тут он разулыбался. – Они не знают, что я к тебе бухать хожу. Я им там гей-порно включил на компьютере. Пусть проанализируют...

Вот какой это был человек!

Руки золотые у него! Вот телик у меня сломался, я его весь по винтикам разобрал. А уж небось я не из последних-то слесарь, но сколько ни валандался, сколько там ни паял, ни в какую – жопа. Ароныч пришел, взглянул – херак-херак! Всё, готово. Сели фигурное катание смотреть.

А в другой раз, помню, он мне на компьютере своем кино показал, штатовское. Там про одного парня, он еще звиздюк мелкий, но озорной и с характером, с учебой у него там проблемы, да и городок у них такой, вроде Красновишерки, где в срочную у меня часть стояла – гребанат на гребанате, я извиняюсь... И тут ко всему прочему узнает этот щегол, что скоро конец света. Но в итоге изыскивает способ как своих- то спасти – сестренку, мать... Песня там в конце еще славная такая, непонятно нихрена, но пробирает аж до слезы, очень ее Ароныч любил.

По будним выпивали, ночами чертил, а по выходным он всегда летал. И нашли его так, с воздуха. У него летяшка ярко-оранжевая была, заметная... так и лежал там, на снегу, посреди Лосиноостровского массива... Движок отказал, я так думаю. Во всю эту конспирологию лядскую я не верю. Эх, мля... Короче, не о том...

Я сам-то высоты до усрачки просто боюсь, да и служил в ПВО – уж сколько перешучено было у нас на эту тему. Вот бы на тебя через прицел-то поглазеть, говорю ему, когда ты там круги наворачиваешь над Подмосковьем. Уж я бы ка-а-ак херанул! А Ароныч смеется, руками машет, хе-хе-хе...

Ну, бухал, ага. Но как он бухал?! Вот мы раздавим пузырь, второй, заполируем пивчанским – я уже, извиняюсь, в щщи, а Ароныч: «ладно, я работать пошел». Утром звоню ребятам в слесарку – извиняйте, хлопцы, приболел. Ну, там люди с пониманием, готовы прикрыть. Сползаю еле живой до магазина, а навстречу Ароныч – с пробежки, как огурчик:

– Ну, ты чо-как?

– Нормально, емть.

– И я нормально, всю ночь чертил опять. Такая штукенция занятная выходит, Саныч, ох, пошумим!

Ну и чтоб пьяным – летать?! Ни-ни, это никогда. То, что говорят, что штрафовали его менты несколько раз, это было. Но не за пьянку в полете, ни в коем разе. Это вот твердо, емтыть.

А чего он там чертил по ночам – не особо распространялся, но я примерно смекаю. Многажды говорил под беленькую:

– Засиделись мы, Саныч, на Земле. Пора расширять сферу влияния. Помнишь, как Звезда-Наша- КЭЦ, говаривал, «нельзя вечно оставаться в колыбели...» Ну, за Константина Эдуардыча!

Вот в последние месяцы постоянно твердил об этом. Космосом увлекся. Не знаю, чего там получилось у него. Сам был свидетель, уже после похорон подъехали ребята на четырех машинах, корректные такие, емть, при галстучках, из квартиры вынесли не меньше пятнадцати коробок, все опечатали... Ну, даст Бог, скоро узнаем, что там Ароныч нам нарисовал.

Жалко трындец его. Охерительный был мужик.

7

На чем добираться до долгопрудненского – никаких сомнений не было. Списались со всеми нашими во «вконтакте», все кто из Истры – около тридцати человек. Решили – пофиг на штрафы, на всё пофиг. Это ж IcaRUS! Это же целая эпоха. В такой день нельзя дома сидеть! Ветер и облачность в норме. Собрались и стартанули.

А уже на подлете к Ленинградке, над «Икеей», смотрим, болтается аэрокоп – по всей форме, летяшка мигает габаритами, с жезлом светодиодным, в шлеме с забралом зеркальным. Все напряглись, конечно. А он нам внезапно палкой своей показывает – мол, пролетайте, нормально всё.

Ну и чем ближе к точке – тем больше народу. И аэрокопов тоже дофигищи. Но не вмешиваются, никого не тормозят. И я подумал – это вот потому, что они хоть и «копы», но «аэро...» же! Свои братаны-летуны, если вдуматься. Тоже решили отдать дань уважения!

Над самым кладбищем просто все небо в летунах. Внизу конечно тоже народу порядочно – журналисты там, просто зеваки. Но небо прям всё было усыпано. Никогда такого не видел, офигенно! И пасмурно так было, и темно, а все захватили с собой фонарики, мобилы достали и светят ими. Такая иллюминация. Красиво! И все молчат, не мельтешат, просто молча зависли. И слитный звук такой от летяшек – как, знаете, вот ночью в поле выйдешь – и множество сверчков трещит.

Ну и когда стали уже гроб опускать, включили любимый трек IcaRUS-а нашего: «Безумный мир» Гэри Джулса. А какие-то ребята и девчонки, человек двадцать, стали в воздухе показывать живые картины. Ну, помните, как у Джулса в клипе: рожица, домик, машинка, лодочка с парусом... Снизу круто смотрелось.

Я потом в записи специально несколько раз пересматривал. Круто вышло.

Я, помню, очки приподнял летные, получше всё это рассмотреть. И в какой-то момент в глазах прям зашипало. А чего зашипало? Фиг его знает. Ветер-то совсем пустышный был. Семь метров в секунду.

Софья Ролдугина Классики

...А ещё говорят, что за Смоленской площадью, между Денежным переулком и Плотниковым, есть дворик с липами – точь-в-точь как в старой Москве.

Под окнами там стоит только одна машина – красная «Победа»; перед подъездом – лавочка, наискось – песочница и деревянные качели. Асфальт вспученный, и через трещины лезет сизоватая трава. Иногда во двор ненадолго забегают дети – поиграть в классики.

И говорят, что если попроситься в игру...

После этого сна Сашенька всегда просыпается со сладким щемлением в сердце. Одной в такое время ей быть просто невозможно. Она собирает корзинку, робко пряча тот самый сон где-то между чайником с липовым настоем и вчерашним смородиновым пирогом. Затем, прихрамывая, поднимается на этаж выше и звонит. Если очень постараться, можно сделать вид, что она так, без причины, заглянула чаёк с подругой попить.

Но Варька на мякине не проведёшь.

– Проходи, что ли, – вздыхает она. Взгляд – одновременно сочувствующий и строгий. – Давненько не виделись.

Варька моложе на три года и умнее раз в десять; у неё угрюмое лицо и ловкие пальцы. Варька вяжет умопомрачительные шарфы из яркой пряжи и продаёт их через компьютер.

И разбирается в нём, ей-ей, ловчее собственной внучки.

– Ничего, что я так?... – Сашенька тушует.

Но Варька уже берёт её под руку и ведёт на кухню. Не слушая возражений, достаёт из холодильника батон «докторской» колбасы, красную рыбу и ещё Бог весть какие деликатесы.

– Угощайся. – Тон извинительно-просительный, словно ей стыдно за свой недостаток. – И рассказывай. Что глаза-то опять на мокром месте?

– Да вот, нагородилось под утро... – уклончиво отвечает Сашенька – а потом как захлёбывается словами, и говорит, и говорит, сбивчиво и бесконечно, пока не остывает окончательно липовый чай.

Варька слушает всегда как в первый раз и кивает:

– Классики, значит? И кто до конца допрыгает, тот сможет вернуться, куда захочет?

– Вернуться, когда захочет, – поправляет её Сашенька, зардевшись. Уж больно глупо звучит, но Варька не смеётся.

– Мне-то и здесь хорошо, – говорит она ровно, оглядывая солнечную кухню, и клубки шерсти на комод, и внучкины фотографии, и пыльную набережную за окном. – А ты-то чего не сходишь, не проверишь? Вдруг там и правда есть эти самые дети с классиками?

После её слов Сашеньке всегда делается так головокружительно страшно, что она крепко до онемения прижимает к себе костыль и шепчет:

– Там прыгать надо... По клеточкам... Как я, со своей-то ногой?

Варька сердито звякает ложкой о край чашки и смотрит в сторону. На прощанье она суёт в руки Сашеньке то целое блюдо клятой дорожкой колбасы, то пачку вкуснящего чаю...

Сашенька не берёт, но просит на днях зайти в гости.

Но этим летом всё по-другому.

Ещё весной, в апреле, Сашенька попадает в больницу. Сначала Варька навещает её часто, носит апельсины и курагу, терпеливо слушает рассказы – даже те, что давно наизусть знает. И про поездку на Байкал, и про бесценные Сашины книжки, и про университетскую библиотеку,

и даже про то, как реставрационный отдел подло закрыли и всех работников, считай, на улицу выбросили...

Только про аварию напрочь отказывается слушать.

– В жизни всяко случается, – бурчит она. – Муж твой. Я вон вообще без отца без матери росла, и что?

Варька права, конечно; и сейчас, когда горе давно перегорело, Сашенька понимает, что нельзя было прятаться в уголке между родительской квартирой и реставрационным отделом, заслоняться книжками, трауром и жалеть себя. И где-то между маминими похоронами и собственной пенсией была та страшная точка невозврата, когда хочется изменить жизнь – да уже не может.

Да разве теперь что поправишь?

Ближе к лету Варька вдруг перестаёт заходить. Сашенька беспокоится, звонит ей в квартиру, но очень долго трубку не берут. Только в начале июня, когда до выписки остаётся всего ничего, отвечает ломкий девичий голос:

– Александра Петровна? Я вас узнала, хотя вы меня не помните, наверно. Я Вика Грачёва.

– Варина внучка? – догадывается Сашенька и улыбается: – Как же не помнить, помню. Такая ты кроха была, а вон, выросла...

Вика молчит в трубку, затем просит перезвонить, когда Сашенька выпишется из больницы, и диктует длинный номер мобильного.

– Вот, – говорит Вика – длинноногая, загорелая, чем-то ужасно похожая на саму Варьку в молодости. – Это бабушка для вас вязала... Я доделала.

И протягивает пышный-пышный, ажурный-ажурный, яркий-яркий шарф. Неровный – сразу видно, где одна мастерица начала работать, а где другая продолжила. И, глядя на эту линию, на стык, Сашенька как-то сразу верит, что Варьки больше нет; она не плачет, просто садится в кресло, прижимает к груди новый шарф и дышит. И дышит.

Надо дышать.

Вике неловко быть рядом с полужнакомой старухой, но она добрая девочка – остаётся до самого вечера, хозяйничает в Сашином буфете, заваривает липовый чай, гладит её по мягким седым волосам. Уходя, обещает вернуться завтра – помочь с уборкой. После двухмесячного отсутствия пыль скопилась повсюду.

Ночью Сашеньке снится тот же сон – тихий двор, липы и лето.

Просыпается она безмятежная.

Собирается долго, тщательно. Расчёсывается, отглаживает любимое голубое платье, кутает плечи красивым Варькиным шарфом – и идёт к метро. В молодости она бы до Смоленской и пешком добралась; а сейчас едет с передышками, часто выходя из душного вагона, целый час и ещё полчаса ковыляет до Денежного.

...В это не верится совершенно, но дворик там действительно есть.

Красная «Победа» приткнулась в полутени под липой; на капоте дремлет полосатая кошка. У лавки рассыпана горстка семечек, и стая наглых воробьёв теснит от них одного толстого голубя. Качели заняты девочкой в джинсовом комбинезоне; её раскачивают двое мальчишек.

Сашенька некоторое время наблюдает, а потом спрашивает:

– Простите, а вы случайно тут в классики не играете?

Оборачивается один из мальчишек, белобрысый и черноглазый.

– Играем, – отвечает он спокойно, глядя сквозь неё. – Хочешь с нами?

И Сашенькина робость вся куда-то исчезает.

– Хочу. Только мне бы клеточек поменьше. – и она виновато постукивает по асфальту костылём.

Девочка спрыгивает с качелей – лихо, на лету, – достаёт из кармана зелёный мелок и тщательно вычерчивает на асфальте дорожку из девяти клеток. Смотрит с кошачьим прищуром:

– Ну, давай. Только, чур, задом наперёд. Без биты. Сумеешь?

Сашенька кивает – и ступает в «дом».

...девять...

Прыгнуть на седьмую-восьмую двумя ногами – невозможно, даже переступить – и то невыносимо, но она пробует и всё ждёт, когда же прострелит болью от колена и до самого сердца.

Но боли нет.

...семь-восемь...

Костыль выворачивается из рук, как живой, но звука падения не слышно.

...шесть...

Пропадает из воздуха запах гари от Садового кольца. Где-то рядом звенит троллейбус; тополинный пух на мгновение скрывает блёкло-синее небо, а затем исчезает.

...четыре-пять...

И падает, впитывается в землю тень башни-высотки, а из трещины в асфальте, у самой ноги, выстреливает росток одуванчика, закутывается в розетку листьев – и подмигивает жёлтым глазом-цветком.

У Сашеньки на губах и горечь, и сладость.

...три...

Выбиваются из-под косынки длинные косы, и рыжего цвета в них с каждой секундой больше, а седого – меньше.

...два...

Зелёные линии на асфальте исчезают – а потом под ногами вновь появляется рисунок, девятка и полукруг.

Сашенька спотыкается и падает; впрочем, коленки и так сплошь в зелёнке, мама перестаралась утром. Конопатая Варька смеётся заливисто и дразнится:

– Ошиблась, ошиблась!

Ветер треплет голубое платье и ветки лип, рвёт на клочья низкие облака.

Саша переступает через меловую черту и запрокидывает голову к небу.

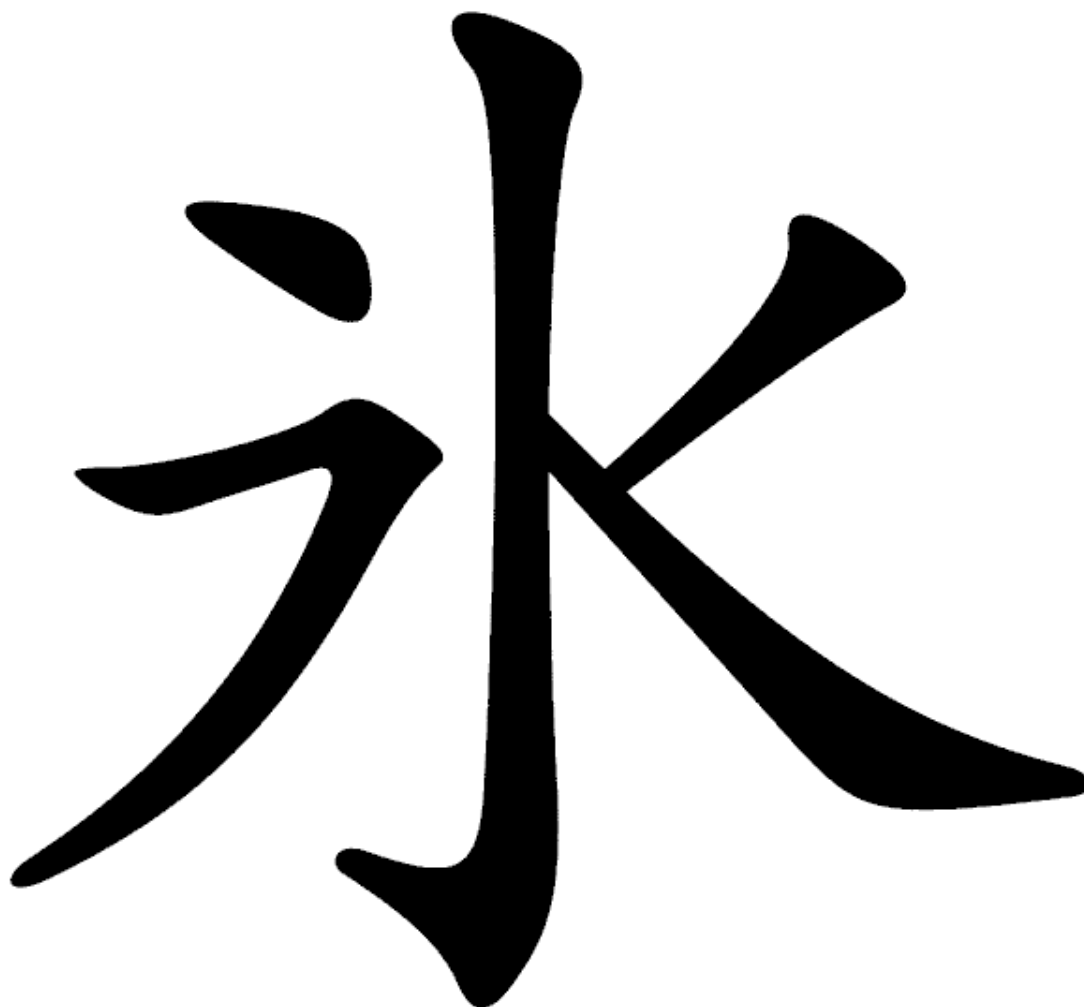
– Я дома.

Июнь пахнет солнцем.

3. По тонкому льду

Чем тоньше лёд, тем больше хочется всем убедиться, выдержит ли он.

Генри Уилер Шоу



Сергей Игнатъев

Девочка с ароматом полыни

Милый С., мой мальчик с фисташковыми глазами и пепельной душой, сегодня вечером мне так не хватает тебя! Я скучаю. Знаю, ты не поверил бы, скажи я это вслух, тебе в глаза. Ты привык считать меня бездушной стервой, беспощадной сукой. Хищной пумой, разрывающей когтями твое дурацкое большое сердце.

Милый мой глупышка С., ты так часто говоришь, что я погубила тебя. Попрекаешь меня тем, что я играю тобой, как куклой, клетчатым дурачком в колпачке с колокольчиками. Ты говоришь, я свожу тебя с ума. Ты говоришь, я превратила твою жизнь в ад.

Все это правда, мой хороший.

Скажи, что любишь меня, говори снова и снова! Мне так важно слышать это. Быть в твоей жизни, быть частью тебя. Мы дополняем друг друга, как луна и туман, как хрупкие кости и замшелый склеп, как уродливая личина противогазной маски и зазубренный траншейный нож, как шансонетки в кружевных подвязках и карлик-конферансье с цилиндром на рыжих вихрах. Мы связаны неразрывно, счастье мое, мой мнительный издерганный меланхолик!

Ты не представляешь, каково это – ждать тебя весь вечер в твоей выстуженной обшарпанной мансарде, совсем одной. Слушать, как рваными синкопами сквозь прореху в крыше дождевые капли стучат в жестяной таз. Как шуршат опадающие кленовые листья, с ветром скользя в фокстроте по подернутому дождем оконному стеклу.

Я жду тебя...

Ты придешь, усталый и мрачный, прикурив от обесцененной инфляцией десяти тысячной банкноты, ей же растопишь дрова в подернутой ржавчиной печке, труба которой артритным суставом выгибается в окно, навстречу дождливому небу. Будешь, не снимая пальто, сидеть у огня, приходя в себя, отдыхая после этого длинного-длинного серого-серого дня. Освещенный пляшущими бликами, будешь чистить маленькие желтые апельсины, кидать в угли длинные лепестки кожуры. Будешь поить меня апельсиновым соком, сжимая мякоть сильной рукой, улыбаясь и облизывая липкие пальцы, а я буду послушно и жадно ловить приторные, с кислинкой, капли...

Где тебя носит, мой мальчик? Совсем один в этом сумрачном неприятном городишке. Чем ты занят? Засиделся допоздна в конторе, придумывая очередную рекламную чепуху для этого синеносого старикашки Кутхеля, мнящего себя великим дельцом? Или опять в баре с пьяницей Генрихом, художником-неудачником, с которым у вас так много общего? Работает в ателье, и главная мечта – найти богатую невесту и пристроить все эти запылившиеся холсты. Теперь у тебя остался только он. Ивен, так и не получив архитектурных заказов, завербовался в Иностраннный легион, а Эл, не окончив курса, уехал фельдшером в медвежий угол, которого и на карте не найти. Помнишь, как вы подрабатывали массовой в театре? Как пытались открыть свою автомастерскую? А как сидели втроем вокруг разрисованной звездами тумбы, уставленной бутылками, за кулисами цирка, где Эл с Ивеном провели целых три месяца, в паре, попеременно, изображая рыжего и белого клоунов? Пахло опилками и навозом, сеном и сахарной ватой, и слон за стеной неодобрительно трубил вам, пеня на громкий смех и излишне крепкие словечки. Славное было времечко, да? Мы только познакомились с тобой, в том подвале у вокзала, где патефон, шипя и подвывая, наигрывал аргентинское танго, и сквозь табачное марево доносился стук бильярдных шаров. Мы оба оказались там случайно. Ты сидел в углу, потерянный и одинокий, мрачно курил, уставясь за спину престарелого бармена в полосатых подтяжках. А потом ты увидел меня, и жизнь твоя переменилась.

А может, ты изменяешь мне? Зашел в тот кабак «Оазис», царство красного плюша, фикусов и облупившейся позолоты, где два месяца исторгал из разболтанных клавиш поцарапанного рояля «марш отчаянных кавалеристов», «тонет реченька в закате» и «куплеты шансонетки»? Ты говорил, что нравился тамошним девочкам, правда, хвастунишка?

Почему тебе так нравится обсуждать со мной своих баб? Неужели ты считаешь, что я подхожу для таких разговоров? Милый С., иногда мне кажется, что тебе нарочно хочется ранить меня. Как злой ребенок, который отрывает трепещущие крылышки пойманной бабочки. Хочет убедиться, что ей больно, что она действительно живая.

Мой безумный ревнивец...

Я не хочу слушать про них. Про эту Кейт, с ее надменным изгибом тонких бровей и капризной припухлостью губ. Она ушла от тебя к рябому мальчишке-спекулянту. Или эта Саша, с ее русой мальчишеской челкой и отточенными манерами гимназистки-непоседы. Шикарный лайнер увез ее прочь вместе с клюнувшим на ее уловки жирным покровителем, к тем берегам, к которым так рвешься ты сам, где пестрый узор пляжных зонтиков повторяет

узор зонтиков коктейльных, и соль океанского бриза контрастирует со сладостью кокосового молока.

Не хочу знать про всех этих незнакомок, которые улыбаются тебе задаром, ничего не ожидая взамен – официанток, барист, цветочниц, молочниц, продавщиц сосисок. Про тех, кого ты цепляешь жадным взглядом на улице, проходят ли они мимо, виляя обтянутыми шелком круглыми задницами, или проплывают в открытых автомобилях, томно глядя поверх меховых манто, или на миг проскальзывают в просвете неплотно задернутых штор, изгибаясь йогами перед зеркалами, цепляя застёжки лифчика или выставя колено, по которому скользит фильдекос стаскиваемого чулка.

Не хочу я слушать про тех, кого ты и теперь не прочь затащить в постель. Эта Эллис, как ты умудрился наткнуться на нее на том мосту, среди ночи? Она стояла и смотрела вниз, на неподвижную воду, пряча руки в муфту, и ее кукольное, фарфорово-белое личико под кружевной вуалью походило на посмертную гипсовую маску. Ты, конечно же, спас ее, развлек вдохновенным поток бессмысленных шуток, отпоил медовым грогом в ближайшей забегаловке, проводил до ее крошечной квартирки, оклеенной фотографиями голливудских див, а теперь нянчишься с ней, будто всерьез намереваешься склеить по частям ее сердечко, разбитое этим режиссеришкой-проходимцем. Бедненькая Эллис, жертва собственной наивности, девушка-птичка с глазками на мокром месте... Ты просто не мог пройти мимо, ты же у меня настоящий рыцарь! Только вместо блистающих доспехов и шлема со страусиным плюмажем – поношенное пальто, помятая шляпа и траурный костюм, как дань пяти сезонам в похоронной конторе Фишера, ха-ха!

Лиз на мой вкус еще ничего, у нее хотя бы есть стиль... Эдакая юная жрица Гекаты, влюбленная в смерть, с ее подчеркнутыми веками, дрожащими тонкими пальцами и крашеными прядями. С ее изящным носиком, кончик которого всегда трогательно покрасневший, но вовсе не из-за промозглой погоды, а от злоупотребления кокаином. Правда, стихи ее – полная дрянь, тут я с тобой совершенно согласна, мой умница. Признайся, между вами что-то было? Она мила, даже очень. Знаешь, иногда я думаю о ней, и о нас... Впрочем, неважно. Дурацкие девчачьи фантазии, хи-хи.

Но как же меня раздражает эта Карла, доченька толстосума Дижона! Он произвел на тебя впечатление, да? Этим его сверкающим длинным «каддилаком» и циклопическим усадебным садом с шахматными фигурами, выстриженными из самшита и тиса. Поэтому ты взялся заниматься с его дочуркой? А может, все дело в ней? Ответь мне! Ты никогда не говоришь со мной про эту малышку. Почему? Разве между нами еще остались какие-то секреты? Какая она? Должно быть, хрупкая блондинка с голубыми глазами и ангельским румянцем, сама невинность, ребенок... Ты никогда не переступишь через черту, но просто не можешь не думать о том, от чего эта черта тебя отделяет. Ведь, правда? Уж я-то тебя знаю, я вижу тебя насквозь, паршивец!

Где ты, мой мальчик? Мне так скучно без тебя. Я совсем одна, мне холодно...

Не понимаю, что тебя тянет, вновь и вновь, на улицы этого Богом покинутого городишки. Валютный курс в нем пляшет и дрожит, как трехлинейка в руках новобранца перед свистком к атаке. Помнишь, ты мне рассказывал об этом? Хи-хи, вот видишь, я даже мысленно использую твои слова, говорю с тобой на твоём языке. Так мы близки...

Мне нравится, когда ты говоришь со мной о серьезном. О политике, об инфляции. Ты ругаешься, у тебя делается такое злое лицо. Такое смешное, красное, как помидор, если бы ты мог видеть себя со стороны...

Но прости, я отвлеклась.

Инфляция, по твоим словам, а я в этом мало разбираюсь, ты же знаешь, она сводит на нет все твои усилия, деньги не стоят ничего, толстые пачки бесполезных бумажек, счет идет на миллиарды. И все твои старания впустую, песком сквозь пальцы просыпаются часы, прове-

денные в конторе «Кутхель и Ко», и бессонные ночи за печатной машинкой, и фортепианные гаммы в усадьбе Дижона, с этим белокурым ангелочком...

Да, конечно, я снова ревную! Я иногда бываю такая дура... Я знаю, что ты любишь меня. У нас все по-настоящему, не то, что было со всеми этими...

Ты устаешь, ты так много работаешь. Ты хочешь много-много денег. Чтобы уехать отсюда куда-то далеко, где шелестят пальмы и солнце роняет расплавленное золото на океанские волны. Если у тебя получится – что будет со мной? Неужели ты бросишь меня – здесь, одну... Нет, не верю. Ты возьмешь меня с собой! Ведь мы любим друг друга. Я вижу это по твоим глазам. Это часть моего дара, часть игры – уметь читать по глазам.

Даже когда мы здесь на мансарде, вдвоем. Ты продолжаешь работать. Ты садишься за массивный «ремингтон», клавиши грохочут пулеметом, лязгает железо, трещит каретка, шелестят тонкие папиросные листы...

А я сижу и смотрю, как ты работаешь, жду... Я привыкла ждать. Мне некуда спешить. Теперь, когда мы вместе, когда я – с тобой.

Ты пишешь свой роман. Четвертый по счету, да? А в конверте, что оставляет под твоими дверями квартирная хозяйка, опять стандартная форма отказа, в которую с ошибкой вписали твою труднопроизносимую иностранную фамилию. Однажды ты сказал – черта с два, если понадобится, я напишу их еще десяток, может десятый будет действительно хорошей вещью, я не сдамся. Мой глупый наивный писака!

Как я счастлива в те мгновения, когда ты хлопаешь ладонью по столу, переворачивая забитую окурками пепельницу. Чертыхаешься, трешь пальцами покрасневшие глаза. Трогательно встряхиваешься, как воробушек, выпавший из гнезда. Вырываешь из каретки листы, сминаешь их в ком, швыряешь в корзину...

И бежишь ко мне, через всю мансарду, порывисто и жадно. С этой твоей мрачной отрешенностью на бледном худощавом лице, что навсегда лишило меня покоя.

Мы вместе! Мы становимся одним целым. Мы сливаемся, играем. Я так люблю наши игры. Немного обжигающего огня, немного сиропной сладости. Я горю, я таю, исходя сочной влагой... Мне не стыдно говорить об этом. Ты меня не слышишь, а эти обшарпанные стены привыкли молчать. Они видали и не такое, поверь.

Иногда я увожу тебя, далеко-далеко, прочь от этих брусчатых переулков, прокуренных баров, от торчащих навстречу сизым тучам дымоходов и острых шпилей, прочь из этого скучного города и из этой скучной страны, за лесные дали и морские горизонты. Туда, где не бывал никто. Это наш мир, он ярче полотен Ван Гога, он причудливее видений Босха, изобретательнее композиций Дюрера и запутаннее виньеток Бердслея. Он бережит душу, как Григ, и молодит сердце, как Моцарт, он завораживает размахом Бетховена и подкупает нюансами, как Брамс. В нем только я и ты. Мы играем...

А после, усталый, удовлетворенный, ты говоришь со мной, много и долго. Ты рассказываешь мне про свою жизнь. Про свою страну, чужую мне... Так странно, я чужая этому городу с его остроконечными шпилями и красной черепицей самодовольных домов. И ты чужой ему. Тебе чужда моя родина, напоенная солнцем, пахнущая мелиссой, анисом и мятой. Мне чужда твоя, талым снегом напоенная, пахнущая спиртом, дегтем и порохом. Я знаю о ней только из твоих рассказов и почему-то представляю ее именно такой...

Чужие друг другу, в чужом городе, и все-таки вместе.

Я слушаю твои рассказы. Про цепочки людей в сером, растянувшиеся по степи, метет поземка, валит дым, шрапнельные разрывы... ты тащишь на спине этого грузного, хрипло ругающегося человека, а кругом пули выбивают фонтанчики грязи, и ты думаешь только о том, как бы дотащить его до тех палаток на холме... А потом грохочет совсем близко, закладывает уши, и тащить становится легко-легко, ровно в половину легче, и он уже не ругается, нечем... И другие картинки – еще раньше – игра в «гигантские шаги» и кусты сирени, в которые ты

зарываешься носом, выдыхая чудесный аромат, грибная охота и рыбалка и та взъерошенная речная выдра, что так напугала тебя, выскочив из осоки, отблески камина на корешках книг в отцовском кабинете, на погонах его кителя, накинутого на стул, и санки летят под гору, захватывает дух, а в пронзительно-голубом небе взрываются веселые шутихи... И зал с колоннами, нестройная шеренга усталых людей в заляпанных глиной сапогах попирающих блестящий паркет, в грязных шинелях, и с осуждением смотрят на это золоченые господа с высоких портретов. А рыжеусый полковник срывающимся голосом объявляет, заикаясь, сглатывая, никак не может выговорить, что полк ваш ра-ра-распущен... И давка, сутолока у трапов, и клепаные стальные левиафаны уходят прочь к горизонту, тоскливо трубя и выпуская навстречу плачущему небу густые клубы черного дыма... Одиннадцать лет прошло, мой милый С., а как будто вчера, да? Сколько тебе тогда было, семнадцать? Давно пора забыть об этом. Теперь вокруг другой город, другая страна. Другая жизнь.

Не будем о грустном. Я хочу, чтобы ты улыбнулся. Даже если не слышишь меня, далеко, на другом конце этого поганого городишки. Улыбнись – сейчас!

Знаешь, иногда я фантазирую... Я испорченная, да? Хорошие девочки так не делают, пряча жар чресел под оборками ночных рубашек, под судорожно сцепленными поверх одеяла пальцами. Но я не такая, тлеющее внутри пламя изводит меня до сладкого обморока, до вакхического безумия. Например, я представляю, как ты делишь меня со своим другом, этим недоделанным Ренуаром, этим Дега галантерейных кулис. Он разделяет нашу игру, нас уже трое... Или твоя подружка Лиз, мортидная нимфа, чтобы там ни было между вами, почему бы нам как-нибудь не попробовать это с ней, всем вместе, она вполне моего типа...

Интересно, ты говоришь с ними обо мне? Конечно, нет. Ты стыдишься меня, признайся? Держишь меня взаперти, в тайне, как будто в нашей связи есть что-то мерзкое, непристойное, как будто мы должны таиться! В чем дело? Я знаю, тебе чужд эгоизм, но ты хочешь спрятать меня ото всех, зачем, глупышка? Это так ску-у-учно. Я сижу здесь одна, ожидая, пока ты шляешься там, с этими... Ну, прости... Вот опять, я рассуждаю как истеричка! Но мне же можно быть истеричкой, правда? В конце концов, я девочка.

Просто я безумно тебя ревную. Даже к этому твоему другу. Даже к твоему «ремингтону». Скажи, ты меня любишь? Ответь сейчас же, услышь меня, где бы ты ни был!

Ты говоришь, что у меня есть дар, у меня талант. Меня не заменишь ни китайским опиумом, ни магрибским гашишом. Я пылкая любовница, утоляющая твою жажду, и я же – твой проводник, уводящий за грань... В языке, который связал нас, который обоим нам чужой, нет подходящего слова. Ты называешь меня скользкой лгуньей, змеей, ворожеей и кукловодом миражей, сумеречной попутницей и штурманом мира видений, и все это правда, но все это не то. Помнишь, ты рассказывал мне про книжку того англичанина, его мальчишеские воспоминания о школе. Я нашепчу тебе на ушко: ты можешь ласково звать меня stalky, милый, ты можешь даже вставить все это в свой дурацкий роман. Ведь я уже не раз помогала тебе в твоей писанине, правда? Я знаю, ты благодарен, ты ценишь меня... Знаю, мой трепетный птенчик.

Всякий раз, когда ты валяешься передо мной на смятых простынях, в испарине, такой нелепый и незащитный, как перевернувшийся кверху брюшком жук, меня охватывает смесь жалости и странной гордости. Что я могу делать с тобой... Зовешь меня своей госпожой и королевой, канючишь и клянчишь, моля о продлении удовольствия, бедняжка.

А потом, в помутнении, осыпаешь площадной бранью, проклинаешь, как пощечинами хлещешь словами, задыхаясь от ярости.

Иногда мне хочется убить тебя. Я представляю, как сделаю это... Мне кажется, это будет просто. Ты упадешь в судорогах на этот дощатый пол, фисташковые глаза твои потеряют свой цвет. А я буду смотреть на твою агонию и прислушиваться к себе – шевельнется ли что-нибудь внутри?

Убью тебя. А потом себя. Умрешь ты, умру я... Хи- хи-хи, вот видишь, я говорю сплошные глупости. Умереть – ха! Мой милый С., если бы это было так просто... Все-таки хорошо, что ты всего этого не слышишь.

Но что это? Скрип ступеней, шорохи, скрежет ключа в замочной скважине. Ты пришел, мой мальчик! Я так ждала тебя, и вот, наконец, ты здесь... Мы поиграем с тобой прямо сейчас, ведь правда?

Возможно, именно сегодня ночью я убью тебя. Отравлю тебя, остановлю твое глупое большое сердце. Может быть. Я еще не решила. Не будем думать о будущем, здесь и сейчас есть только я и только ты. Мы дополняем друг друга, как могильный гранит и высохшие розы.

Называй меня любым именем из тех, что ты придумал. Зови меня отравой и проклятьем, трупно-зеленой сукой и изумрудно-зеленым очарованием. Сравнивай мой цвет с душистыми травами и тошнотворной плесенью. Сравнивай мой вкус с затхлым могильным холодом и свежестью разрывающего штиль ветра. Все это я. Вся твоя, я с тобой вместе до конца.

Твоя девочка с горьким привкусом полыни. Твоя Зеленая Фея, призрачная ведьма туй-она, твоя личная абсентовая иллюзия. Исполнительница желаний, игривый джинн, запечатанный в бутылку L. Lemercier & Duval, тридцать четыре миллиона инфляционных марок за штуку. А может и дешевле – валютный курс в этом Богом забытом городишке дрожит и пляшет, как трехлинейка в руках у новобранца перед свистком к атаке.

Софья Ролдугина **Навья дорога**

*Что ты плачешь, девица,
На холме над полюшком?
Травы стали горькими
От печали девичьей.*

*Только ветру быстрому
Ты её поверила Ни отцу, ни матери,
Ни святым заступникам...*

Зимой темнеет рано. И оглянуться не успеешь – закатится бронзовое солнечное блюдо за махристый лесной край, выползет из-под горы густой сумрак, а стужа озлится еще сильнее и станет уже не просто лицо пощипывать – с размаху оплеухи раздавать. Если не спрячешься, не укутаешься, то покраснеют щеки, а потом и вовсе онемеют. Губы сделаются непослушными – молчи, не смей ночную тишину осквернять!

Скрипит снег под полозьями саней, звенят бубенцы – глухо, из-за шапки почти не слышно. Легко поверить, что на дворе какой-нибудь пышный девятнадцатый век или даже восемнадцатый. И не придумали еще люди ни машин, ни сотовых телефонов.

Впрочем, толку-то от телефона посреди чистого поля, когда до города – триста километров, а до ближайшей деревни. Сколько, к слову?

– Дядя Егор, долго ли ехать еще?

– Да часа с полтора, – горбится. – Не передумал, Сашка? Два месяца в нашей глуши куковать – это тебе не по заграницам гонять балду.

– Я понимаю, но за баб Любой присмотреть нужно, – тянет Сашка, а сам думает, что пропади она пропадом, эта заграница. Вон, какими долгами обернулась – легче отсидеться за тридевять земель, у черта на куличках, чем своей шкурой в столице рисковать. Пока там отец все уладит...

– А что баб Люба? – удивляется Егор и через плечо оглядывается. На высоком вороте иней серебрится, как соболя драгоценная опушка. – Она сама за кем хошь присмотрит. Вона, к ней полдеревни бегают, с любой хворью – любую заговорит-зашепчет. Любо-дорого смотреть! – каламбурит и сам же над своей шуткой смеется, а Сашка угрюмо натягивает капюшон куртки до самого носа и злится.

– Не шептать надо, а к врачу обращаться. А то так можно до осложнения дошептаться. Ну, что вы, дядя Егор, прямо как в Средние века.

– Фьють! Это что ж, в университетах своих набрался? Думаешь, годок-другой за книжками посидишь и сразу умным станешь? Что б ты в жизни понимал, э...

Сашка хочет возразить, что все он понимает, что он уже на пятом курсе в меде, но дядька Егор уже не слушает – опять песню свою завел. А голос у него зычный, чистый – хоть сейчас в оперу.

*Что ты плачешь, девица,
Что, краса, печалишься?
Косы расплетённые
С ветром перепутаны...*

От усталости, от надоевшего уже беспокойства клонит в сон. Сашка вспоминает, как на третьем курсе рассказывал пожилой, многое повидавший преподаватель, как на морозе люди задремывали на минуту – и больше не просыпались. Конечно, так случается от сильного переохлаждения, а ему, Сашке, тепло – два свитера, пуховик, штаны горнолыжные. Но все равно боязно.

– Дядя Егор... А что это за песня такая?

– Это? – в затылке чешет. – А, это про Глашку, навью тутошнюю. Говорят, что году этак в тысяча восемьсот сороковом она там, на холме, на дубе столетнем повесилась. Без веревки, на одних своих волосах.

Сашка представляет себе, какие это волосы длинные должны быть, и делается ему смешно, хотя история вроде к смеху и не располагает.

– А почему повесилась? От несчастной любви?

– Можно и так сказать, – усмехается Егор в воротник. – Глашка барину полюбила, а он ей нет. Ну, кто безродную-то девку будет спрашивать? Снасильничал он ее, знамо дело. А она возьми и повесься над дорогой, – он помолчал. – Вроде и померла, но осталась, как живая и такая же красавица. Сидит себе, волосы пальцами разбирает... А потом, как барин ехал мимо, Глашка ему с дуба закричала: «Помнишь меня али позабыл уже?». Тот возьми и ответь: «А ты кто такая будешь?» Ну, покойница и рассердилась. Прыг на него с дуба! Слуги перепугались, разбежались, а когда вернулись – так барин уже бездыханный лежал, а язык на бок вывален, как у повешенного.

– Жуть какая, – Сашка не врет, ему правда жутко, и смеяться больше не хочется. Даже спать – и то не тянет. Теперь только и делать, что глазами по сторонам зыркать – не покажется ли где силуэт девичий? – Слушай, дядь Егор... А где этот холм с дубом?

– Где? А-а, напужался! – лица не видать, но по всему ясно – довольно ухмыляется. – Не бойсь, Глашкина Поляна с другой стороны деревни, по старой дороге. Там сейчас не проедешь, замело.

А все равно страшно.

Ночь-то кругом колдовская, дикая. Небо – как омут выставший, звезды – выщерблины на льду, луна – полынья, из которой свет водою льется, льется, льется. На километры кругом снег нетронутый, ровный, белый в синеву – и горящий, как электросварка, нет, ярче, так, что глаза слезятся, слипаются, а в ушах звон, и...

Сашка жмурится и мотает головой. Наваждение рассеивается, уходит, как вода в сухой песок. Померещилось. И случается же!

А потом, когда дорога острым скальпелем врезается в лес, становится не до шуток. Дядька Егор слегка осаживает коней, сани сбавляют ход, бубенцы звенят реже и глуше, но по-прежнему мерно. Сашка, забыв про все, чему учили в университете, прикрывает глаза – так, подремать на минуточку, заснешь тут – с дядькиной болтовней... и едва не вываливается из саней, когда они резко тормозят.

– Тьфу ты, черти, – беззлобно ругается Егор. – Сашка, вылазь, подсобишь – ветка на дорогу упала, надо в сторону оттащить. Видать, от снега сломалась.

Ветка оказывается тяжелой, неудобной – не поймешь, где за нее браться. Зато с этими ковыряниями становится уже не просто тепло – жарко. Дядя еще возится, раскидывая мелкие палки по сторонам, чтоб не мешались, а Сашка отходит в сторону, перекурить.

И замирает.

На обочине, в стороне от порядочно укатанной дороги, там, где снега должно быть по пояс, а то и выше, стоит девушка. Красивая... только как она на таком морозе – и в одной рубашке?

– Ты кто? – выдыхает Сашка прежде, чем в себя приходит. Девушка ступает вперед и вдруг произносит жалобно:

– Барин, а барин... Подари гребешок!

Пальцы на морозе леденеют мгновенно – Сашка и успевает только разок чиркнуть колесиком зажигалки, как она падает в снег. Но за короткую секунду, пока трепещет язычок пламени, успевают глаза различить белое лицо и спутанную волосяную кудель – длинные волосы, концы по снегу тянутся, как лисий хвост. Рыжие такие же...

– К-какой еще гребешок?

Губы не слушаются, замерзли, язык заплетается, и самому-то не понять, что сказал. А девушка – глядь! – уже ближе подошла, вплотную почти, и едва-едва не плачет:

– Барин, подари... пожалей... мне волосы расчесать нечем...

Совсем уже рядом стоит, руками за плечи обвила, как плющ – высокое дерево. Смотрит снизу вверх, глазищами хлопает. А в них ничего нет, одна чернота сплошная, как в колоде. Девушка легкая, как птица, и жар от нее идет.

«Руки бы согреть», – думает Сашка, и пальцы уже сами тянутся к теплу. По спине провести, по волосам спутанным.

– Нет у меня гребня, – есть расческа, но она далеко, в чемодане, а чемодан в санях, а сани где? Потерялись... – И вообще, такое не расчешешь, только отстричь можно.

И только сказал это, как зашевелились волосы, будто живые. Змеями поползли – вверх, вверх, грудь сдавили, шею обвили, в рот набиваются. Сашка вздохнуть хочет – и не может, задыхается, и отчего-то так горячо делается, будто в легких у него живой огонь полыхает. А в ушах плач стоит жалобный:

– Барин, подари гребешок... Худо мне!

И оттолкнуть бы ее, да руки в жгучих волосах намертво запутались. Горят, словно пламя горстью черпаешь. Нету сил на ногах стоять, все закончились. Звон в голове, и льнет к спине укатанная дорога...

– Гляди ж ты, почувствовался! Ну-кась, глотни...

Губы растрескавшиеся тяжело разомкнуть, но пить хочется. Пусть бы и такое, солонотерпкое.

Жарко.

Сашка открывает глаза и видит белый бок печи, бревенчатый потолок, стены, травяными косами увешанные, и старуху. Седые волосы торчат из-под красного платка, глаза щурятся, а на щеке, к скуле ближе, коричневое родимое пятно.

– Баб Люба?

Хмурится недовольно – и все лицо у нее сморщивается разом.

– Неужто признал, касатик? Ай-ай! Вот дела! – бабка шутить изволит. – Говорят, за мной смотреть приехал, а самого второй день лихорадка гнетет. Тьфу, все запасы на тебя, окаянного извела.

Ворчит-то она ворчит, а питье исправно подносит. И глаза тревожные – беспокоилась. Все-таки родная кровь, сестрин внук.

– Баб Люб, а баб Люб... Правда, что у вас навья за деревней живет?

– А то не твоего ума... – начинает знахарка и осекается. Лицо у нее делается перепуганное, но уже через мгновение она продолжает ворчать, словно и не случилось ничего. – Вот ведь дурень, что удумал – на морозе спать. Еще и не такое пригласится! На другой раз, небось, не навью увидишь, а черта, не к ночи он будь помянут...

Сашке делается стыдно за свои горячечные кошмары, хоть он и знает, что в бреду и не такое может привидеться.

А еще его клонит в сон. Опять. За окном ночь опять, только не ясная, как тогда, а ненастная – метет, воет. И чудится в этом вое то ли плач, то ли песня дядькина:

Что ты плачешь, девица,

Что, краса, печалишься?

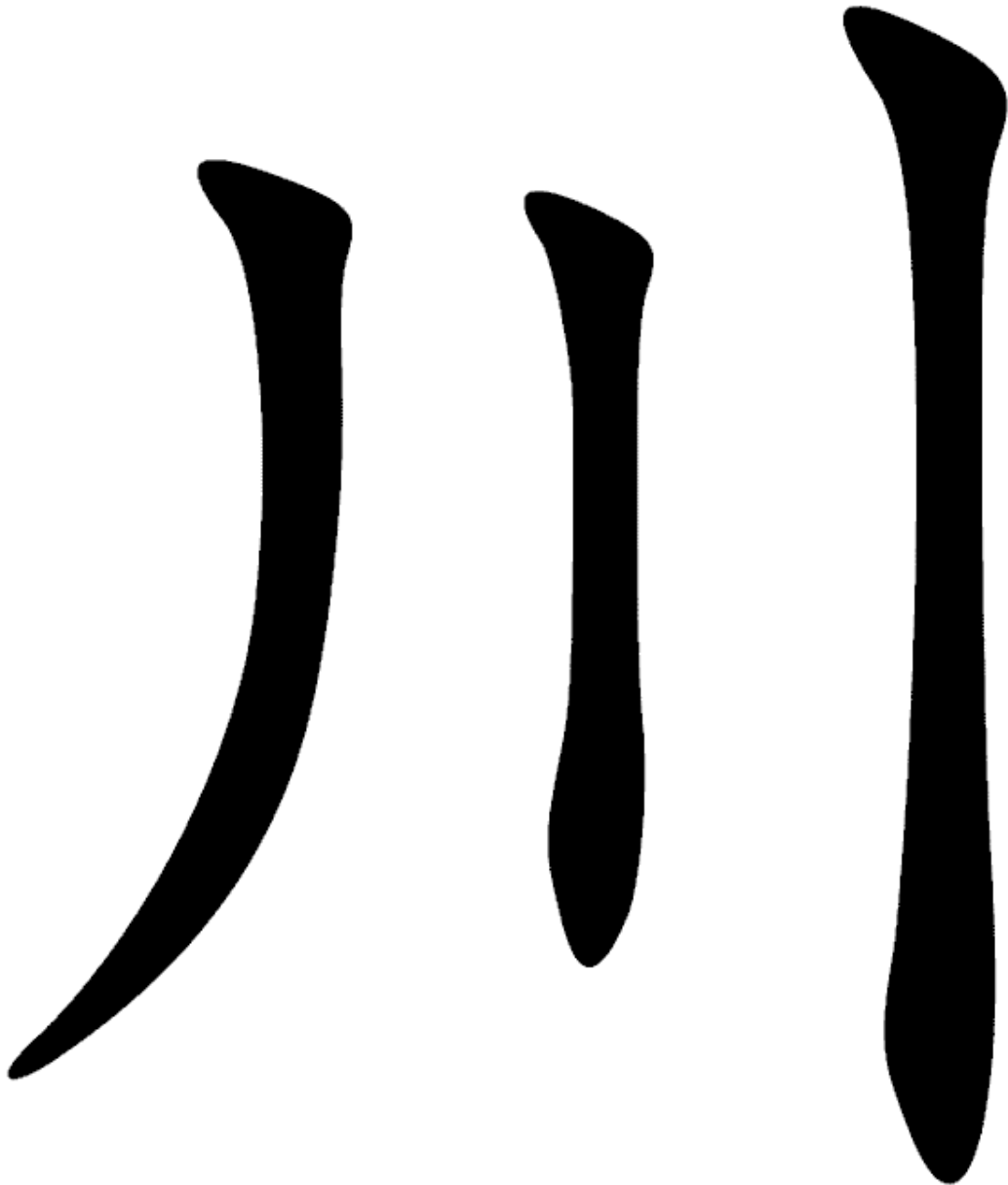
А чья-то ласковая рука распутывает на затылке свалявшиеся от болезни пряди и шепчет
кто-то:

Красивый, красивый... Не надо гребнем откупаться – оставайся со мной, барин...

4. Великая река

*Горы и реки изменить легко, характер человека – трудно.
Китайская пословица*

*Погрузить руки в реку – это значит почувствовать нити, которые
связывают землю в единое целое.
Барри Лонес*



Сергей Игнатъев Психея

Она стоит на коленях, посреди кровати, на смятых простынях. Ждет, пока я разберусь с пряжкой ремня в джинсах, смотрит снизу вверх, накручивая на палец локон.

– Хватит возиться, – улыбается она. – Мне уже не терпится!

Розовая помада, лиловые тени на веках, пушистые ресницы, в мочках ушей – здоровенные кольца из розовой пластмассы. Светлые пряди собраны в два хвоста (конечно же – розовыми) резинками, перекинуты вперед, стыдливо прикрывают ореолы сосков. В пупке посверкивает крохотная алмазная бабочка. Из одежды на ней только кружевные шортики и короткие носки земляничного цвета.

Она щелкает клубничной жвачкой, глядя снизу вверх, бесстыже и смущенно одновременно, эдакая набоковская нимфетка.

Эта часть нашей любимой игры, она заводит, но мыслями я где-то далеко.

Я думаю: почему бы не сказать ей прямо сейчас – когда она смотрит на меня вот так, когда она ждет – и слушает? Когда она готова меня выслушать.

– Надя, я хотел бы...

– Молчи, негодник, – она понимает это по-своему. – Я уже догадалась...

На коленях пододвигается вперед, к краю кровати. Не дает ничего сказать, стаскивает с меня джинсы, поправляет свои «хвосты», убирая их за плечи. Вынимает жвачку и прилепляет розовым комком к краю тумбочки. Одна из ее неистребимых дурных привычек.

Но то, что следует дальше, заставляет забыть обо всем. Просто чувствовать, просто осязать, поглаживая ее ладонью по затылку, глядя сверху вниз, как движется ее голова, ощущать, какие горячие у нее губы, и гибкую влажность, упругую игривость языка, и серебряные горошины пирсинга в нем хололят контрастом, вызывают дрожь, срывают с губ придушенный стон.

Когда она заканчивает, когда утихают последние судороги, я обессилено падаю на скрипящую кровать, лежу раскинувшись, ловлю ускользящую блаженную оцепенелость. Она сидит рядом, поглаживая меня ладонью по животу, мизинцем прибирает с края губ оставшуюся капельку. Бесстыдно облизывает палец, беззвучно смеется: «Тебе понравилось?»

Ну, еще бы.

Сквозь сладкую истому навязчиво стучится мысль: я должен ей сказать! Чем раньше, тем лучше. Можно и завтра, но лучше прямо сейчас.

Я обнимаю ее за талию, притягиваю к себе. Целую в губы, на которых смешались моя собственная горечь и приторный клубничный привкус ее жвачки. Целую шею, спускаюсь вниз, терзаю губами и дразню языком набухшие соски, выступающие под бледной кожей ребра. Не пропускаю ни одной из крошечных темных родинок, и ниже, от серебряной бабочки в пупке, по животу, по дорожке прозрачных волосков до холмика лобка, где губы колет короткая щетина бритых волос, и дальше, вниз и вглубь, где влажные устричные створки скрывают уютную глубину и пламенеющую, раскаленную горошину. Вкус обмана, вкус лунной дорожки на морских волнах, солоноватый и терпкий погибельный вкус болотного тумана.

Она выгибается всем телом, вцепляется в мои волосы тонкими пальцами, шепчет нежные глупости, постанывает и жадно глотает воздух, кусая губу. Створки сжимаются, и пульсирует эта горошина, это безумное алое пламя, и когда всю ее, от ногтей на пальцах ног с облупившимся черным лаком, до запрокинутой, напряженной шеи, начинают бить короткие судороги оргазма...

На миг я вижу ее истинное лицо.

Она прекрасна. Она составлена из лунного света и серебряной пылицы. Веер тонких серебряных усиков, искры в фасетах и распахнутые крылья, невесомые и прозрачные крылья,

свободно проходящие сквозь простыни, и кровать, и край тумбочки с прилепленным к нему комком клубничной резинки...

Когда это произошло в первый раз, она, едва отдышавшись, принялась плакать.

Сначала я не понял, в чем дело. Думал, это что-то чисто женское, физиологическое. Ну, вроде как кончила – и разревелась. Бывает же.

Но дело было в другом.

Мы лежали на кровати, переплетая пальцами рук, я прижимался губами к ее затылку, шептал ей какие-то успокоительные глупости. Она только всхлипывала и шмыгала носом. Потом, шмыгнув особенно громко, задала самый глупый и самый логичный вопрос за время наших отношений:

– Ты испугался?

– Немножко, – соврал я.

Сразу нашелся:

– Это было так... круто, что... Ну, я думал, башню снесет напрочь!

Дело было в том, что она заметила, что я заметил метаморфозу.

Это продолжалось лишь несколько коротких мгновений. Обычные ребята вроде как не должны были обращать внимание на такое. По большому счету, они не должны были Видеть вообще ничего. Тем более – в такие моменты. Одновременный оргазм это такая штука – такая... короче, напрочь сносит башню!

Поэтому она и расплакалась. Поняла, что я проник в ее тайну. И, должно быть, решила, что это вызовет во мне какие-то необратимые психологические процессы. Ну, вроде того, что пережив такой своеобразный опыт, я немедленно сбегу от нее с дурными криками, через балкон и забыв надеть штаны. Или начну пускать слюни и по-доброму смотреть в воображаемую точку в районе переносицы. Или свалю от нее в дивную страну Запой. Или попытаюсь продать ее в цирк уродов, сдам властям, или, к примеру, попрошу ее попозировать для домашнего видео, чтобы зафиксировать такой пикантный сопровождающий фактор (хотя все эти наши штуки на пленке обычно оказываются не в фокусе, и быстро прославится на «ютубе» никому из нас, похоже, не светит). Словом, она была растеряна и напугана.

В этом было что-то лестное для меня. Если такого с ней не происходило раньше – значит, я первый из ее кавалеров, кто смог довести ее до такого сногшибательного финиша. Сногшибательного и крылораскрывательного, мать его.

С тех пор я каждый раз делал вид, что ничего не замечаю.

Мне хотелось казаться нормальным парнем.

Она не стала вдаваться в детали. Ее устраивало, что я не задаю вопросов. Наверное, сразу поверила мне.

Мы называли таких, как она, «белянками». В этом прозвище были не только очевидные энтомологические отсылки (достаточно вспомнить хотя бы наше самоназвание), но и чувствовалось еще какое-то пренебрежение, замешанная на зависти насмешка. Почему вы не такие, как мы?

Она училась на журфаке и пробовала подрабатывать моделью. Белянкам необходимо внимание извне, они питаются сиянием софитов и фотовспышками, они – экстраверты и эгоисты.

Мы – интроверты и эмпаты. Мы сотканы из ночной тьмы, наш цвет – черный, наш проводник – полная луна.

Сейчас мы лежим обнявшись, обессиленные и почти счастливые, мы засыпаем вместе, сплетая голые ноги и тесно прижавшись друг к другу.

Мне снится, что я выступаю у классной доски, под ядовитым светом ламп. И говорю переполненной аудитории:

– Привет, я Сергей, и я ворую у людей ихние сны.

Где-то на «галерке» ржут Винни с Даноном, крутят пальцем у виска.
На первом ряду Надя прячет лицо в ладони от жгучего стыда за меня.
Председатель просит: говорите, пожалуйста, громче.

Я повторяю приветственную фразу, а рот сам собой опять говорит «ихние». И ничего с этим не поделать.

Все надо мной смеются.

Мне хочется стать невидимкой. Хочется провалиться сквозь рыжий линолеум, исчерканный перекрестными черными полосами, что оставили поколения школьников, носившихся здесь, с заносом тормоза каблуками на поворотах.

* * *

– Да ты настоящий говнюк, – хохочет Винни. – До сих пор не сказал ей, а?

Я машу на него рукой, мол не грузи, наливай давай!

Сидим у него на хате. Из мебели тут четыре табурета, водяной матрас, шесть картонных коробок, забитых разным барахлом, и поддельная дайкатана на подставке.

– Сере-е-ежа и Надя, – напевает Данон прекрасно поставленным баритоном. – Они, если честно...

– Не пара, млять, не пара! – орет Винни, перебивая его. – Все поняли уже! Вы задрали языками молоть, давай бери свой стакан, эминем хренов!

Данон выпячивает нижнюю губу и смотрит на Винни так, как барин в цилиндре, проезжающий мимо коровника в рессорной коляске, смотрит на вонючего мужика в лаптях.

– Во, кстати, – говорит он. – Я ж тут посмотрел это кино, наконец, с хопкинсом и бенисией нашей дель торой.

– Про что там? – спрашивает Винни равнодушно. – Гигантские человекоподобные роботы есть?

– Не-не-не, – Данон пьяно качает у него перед носом длинным пальцем. – Там про нас же!

– Про кого это, про нас?

– Ну... про оборотней!

Мы ржем. Во-первых, все трое уже изрядно набрались. Во-вторых, ну какие мы, нафиг, оборотни?

Мы психеи.

* * *

Бывают, конечно, и такие ребята, как в кино. С острыми ушами и большими зубами и здоровенным таким шерстистым хвостом.

Одна моя старая знакомая постоянно жаловалась на своего кавалера – мол, ей каждое утро приходится вытряхивать из простыней всю эту шерсть. Потом они как-то очень быстро и тихо поженились и уехали в свадебное путешествие к теплому морю. Через неделю половину его отдела закрыли за взятки. Иногда мы переписываемся с ней по имейлу. Она рассказывала, что теперь их простыни вытряхивает степенная горничная в кружевной наколке.

Я сижу на работе, заказов нет, скучаю, разглядывая картинки на «девиант-арте».

Благодаря своей работе я и познакомился с Надей. Поехали снимать одного поблекшего секс-символа, мечту домохозяек всех возрастов. Предполагалась ролевая композиция на разворот – дрессировщик в окружении девочек-тигриц. Пока секс-символ со своим пожилым бойфрендом рылись в реквизитных цилиндрах, примеряя их, хихикая и щелкая друг друга на мобильники, мы с фотографом пошли утверждать кастинг. Тут-то я ее и увидел.

Я сразу понял, кто она такая на самом деле. Я даже почувствовал, какого цвета у нее крылья. Но меня это не остановило.

Нынешним вечером мы с Надей встречаемся на верхнем этаже торгового центра. Благодаря работе, я счастливо избежал всех этих радостей шопинга, хождений по рядам кофточек-платице и долгих ожиданий у шторки примерочной с вариантами на выбор, зажатými в зубах.

Надя нагружена разноцветными пакетами, глаза ее блестят, на щеках румянец.

Мы заходим в японскую забегаловку, с некоторым трудом устраиваем на диванчики все эти ее пакеты и коробки.

Она, придиричливо выбирая, заказывает роллы в спектре от Аляски до Фудзи – для нас, и сливовое вино для себя. Палочки – для себя, и вилку с ножиком – для меня. Я беру сразу два бокала пива. И пока пью первый, думаю о том, как начать наш разговор.

Как я расскажу теперь все то, что собираюсь рассказать.

Но у нее, оказывается, тоже есть, чем со мной поделиться. Ловко подцепляя палочками сверток с останками копченого угря и огурцов, она говорит:

– Ленка совершенно чумовую тему предложила. Ты слушаешь, а?

– Угу, – киваю я, оставляя пустой бокал и переходя ко второму. – Что за тема?

– Заслать наши портфолио в одно агентство, оно типа совместное. Центральный офис в Штатах. Лос-Анджелес, детка! У них сейчас кастинг идет для фильма одного... Снимать будут и там, в Голливуде, и у нас, это натурные, видимо... Короче, совместный проект. И вроде как сам Рассел Кроу будет! Представляешь? Клево, скажи?

– А про что кино?

– Да там чума какая-то вообще! Ковбои и салуны, но все это в сибирских снегах, байкеры типа «безумного макса», какой-то призрачный экспресс ездит, и пытаются мир спасти, как обычно...

– Хорошо хоть – не про оборотней.

– Чиво?

– Да это я так, к слову.

Я не вполне понимаю, чем мне светит перспектива ее блистательной голливудской карьеры, но смутно догадываюсь, что ничем хорошим. Мы как-то подозрительно быстро скатываемся в культурологически-геополитический спор, и я вынужден вновь отложить «тот самый» разговор...

* * *

Винни говорит мне: «чувак, я знаю, кто решит твою проблему! Поверь, этот парень рубит фишку. Он разбирается. Я все беру на себя, мне дорого твое душевное здоровье, бро!»

Он приводит меня в старый дом в центре, в паре шагов от Садового, напротив посольства некоей банановой республики с пятицветным флагом на фронтоне.

Подъезд облицован мрамором, подошвы тонут в винного цвета ковре. На входе в контору – кадки с пальмами, ростовые зеркала и двое хмурых типов, в свободных пиджаках и с короткими стрижками.

Секретарь в белой рубашке ведет меня запутанным лабиринтом комнат и коридоров.

– Сгущенка при вас? – спрашивает он, вполголоса и деловито.

Я киваю. Голубую банку мне сунул Винни, который ошивается теперь в прихожей, развлекая охрану анекдотами. Он легко находит общий язык с незнакомцами. В отличие от меня.

Секретарь заводит меня в темное помещение без окон, вежливо улыбнувшись, плотно закрывает за собой дверь.

Внутри темно. Пахнет пылью и чем-то резко-химическим, с лимонными нотками, вроде очистителя для раковины.

Я ставлю банку сгущенки на центр комнаты. Как подношение, как символический дар. Раздается резкий хлопок. Я вздрагиваю.

Нечто вроде узкого длинного лезвия, проткнув банку одним точным ударом, утягивает ее во тьму.

Из тьмы на меня смотрят сразу шесть глаз. У него вытянутый каплевидный череп, пепельно-серая кожа. Гибкое скорпионье тело поддерживают пять тонких и невозможно длинных ног, коленными суставами упирающиеся чуть ли не в самый потолок, похожие на изогнутые клинки, остриями прочно утвержденные в паркет. Шестой ногой-клинком он подносит банку к серому лицу. Моргает, втягивая запах.

— ... подарочек за благодарю щедро щедро мотылек с-с-с...

Его круглые черные глаза – паучьи, обрамляющие их алые ресницы – почти человеческие. В том месте на черепе-капле, где должен располагаться рот, – только ровная пепельно-серая кожа в редких багровых крапинках.

Банку сгущенки он принимает жвалами в подборюшья сегментарного тела, с хрустом и чавканием вжимает в себя, сводя пластины.

Он говорит телепатически, голос его звучит в моей голове, и это как хор множества голосов, как хор массовки в театре, полифонический шепот, слова в котором по странной прихоти переставлены задом наперед. Фраза каждый раз на полуслове обрывается свистящим «с-с-с». Начинается с него и им же заканчивается, как обрывок радиопередачи в переключаемом приемнике:

— ...мотылек ко мне зачем пришел хочешь спросить что у Пле Те Лыци Ка ссс...

— Ну, я встречаюсь с девушкой, – начинаю я, пытаюсь подобрать слова и шевелю пальцами. – И, это, в общем.

— ...похвально это похвально молодое дело ссс...

Понимаю, что Плетельщик шутит. У него своеобразное чувство юмора. Но вообще он довольно обаятельный.

— В общем, смотрите, я хочу сделать ей предложение.

— ...стало дело за чем ссс...

— Она одна из наших. И... она «белянка».

— ...не прикажешь сердцу не ты трепетных волнений печаль советовать тебе что банальных слов кутерьма Плетению ровному противоречит мальчик чувствам доверься ссс...

Чего-то такого я и ждал. А потом удивляются, почему весь их предсказательский бизнес находится в таком глубоком кризисе.

— Плетельщик, мне действительно нужен ваш совет.

— ...кошмаров черную сладость ест кто мотылек ответ ты это в мареве ночных туч ловишь тоску чужую боль чужую страх чужой сsss... не такая она в сиянии соткана вся из света притягивает мечты как вино пьет жадно их ссс... решать самому психея ты ответ луна знает ссс...

Я молчу, раздумывая.

— ...что еще хочешь просить мотылек сsss... молоко сладкое не вполне переварил я спрашивать еще можешь ссс.

Я развожу руками:

— Ну, не знаю. Как бы вот миллиона два долларов мне достать, а?

— ...работать работать работать ссс...

Пожимаю плечами. Думаю, о чем бы еще спросить, раз уж пришел.

— Как наши со «Спартак» сыграют в пятницу?

— ...цска Спартак один два вперед бело красные вперед ссс...

Это уж меня вовсе не удивляет. Хоть и расстраивает немного.

– А на Марсе-то есть жизнь, Плетельщик, вы не слыхали? – улыбаюсь я.

– ...полегче что спроси сссс... все все вышло время сожалею я... мотылек приятный человек молодой тебе успехов желаю ссс...

И он растворяется во тьме, уходит за границу измерений, ловко переступая своими невозможно-длинными лапами-клинками.

За спиной у меня скрипит дверь, секретарь вежливо кивает, мол, пора.

Мы с Винни выходим навстречу шуму Садовой, протяжным гудкам и выхлопам бесконечной пробки, он говорит:

– Ну как, прояснилось в башке?

Я отрицательно мотаю головой, прячу руки в карманы пальто.

Винни заглядывает мне в глаза, кладет руку на плечо:

– Чувак, нууу... Ну, тогда я не знаю, что тебе предложить. Разве что... давай нажремся?!

– Давай!

Я думаю – завтра мы с Надей встретимся, и я сделаю ей предложение.

Но перед этим я должен буду сказать ей, кто я такой на самом деле. Должен показать ей.

* * *

У нас есть что-то общее с вампирами – вечная жажда, тоска по ночи, умение убедительно врать.

Как-то я разговорился с одним из этих пареньков в «Дягилеве» (где-то за полгода до того, как он ушел в историю, а пропитанный гарью серый дым ушел в сторону области). Довольно приятный парнишка, без конца травил разные байки. Правда руки у его дрожали, а из внутреннего кармана его пиджака в стиле «в. з. ф., нигта?» торчала плоская термофляжка. При мне он из нее ни разу не отпил. Зато раза по два в час он с извинениями отлучался в сортир, а возвращался оттуда румяным и бодрым. Перед самым рассветом он свалил, оставив меня наедине с двумя МГИМО-шными красотками. Они рассказывали мне о том, что бейс-джампинг вставляет сильнее секса.

Я даже не пытался спорить. И умолчал о том, что знаю одну штуку, которая вставляет сильнее бейсджампинга...

Сажу в офисе, пялюсь в монитор, старательно закрашиваю в фотопроцессоре мимические морщины одной нашей потускневшей дивы, крупному плану которой предстоит украсить обложку грядущего выпуска нашего мега-актуального и гипер-аутентичного журнальчика.

С вялой улыбкой прокручиваю в памяти события вчерашней ночи.

Похожая на сырную голову полная луна в разрывах туч. Мы с Винни и Даноном, удолбаные в хлам, летим по городу, нарезаем круги над россыпью цветных огней, ловим ветер в крылья. Мы, перевертыши-психи, ведущие такую скучную жизнь среди людей, здесь, в небе, ночью, при полной луне – здесь мы становимся сами собой. Возвращаемся к истокам.

Мы летим от крошечной лужицы Останкинского пруда, кружим вокруг стройной иглы телебашни, летим над скучными кроватными квадратами спальных районов и будуарными изгибами и извилами дореволюционной застройки.

Летим над Москвой-рекой, в мутных глубинах которой прячутся странные существа, перепончатые, многоглазые, с мириадами зубов, шипастыми гребнями и широкими ластами. Лишь в такие ночи они рискуют подбираться поближе к затянутой бензиновой пленкой поверхности, таинственно светят и перемигиваются зелеными и голубыми огоньками.

Мы летим над столицей и напиваемся, опьяняем себя нашим главным наркотиком – кошмарами спящих людей. Всей темной стороной сна.

Когда вам снится, что вы падаете со страшной высоты навстречу острыми, как колья, еловым ветвям, навстречу талому снегу в узорах птичьих лап, навстречу клубящейся океанской бездне, в которой притаился Неназываемый – есть два варианта развития событий:

Сильно-сильно зажмурьтесь – метод апробирован и работает «на раз». Вас сразу перекинет на слой выше, а там уже безопасно.

Второй вариант – довериться воле Сна, позволить ему нести вас в свободном падении. Некоторые так и делают. Тут, как правило, в дело вступают психеи. Слизиывают тонкую ниточку, тянущуюся от осязаемых границ к Инферно.

Я делаю один щелчок пальцев – и ваш сон в безопасности. На миг промелькнет край чудовищного, атласно-черного перепончатого крыла... Я делаю второй щелчок пальцами – и вы меня забываете.

Иногда мы не успеваем. Даже у нас бывают проколы.

Атласные крылья, испещренные фиолетовыми и алыми прожилками, хлопают по ветру. Золотые икры пляшут по ним, складываясь в причудливые картины. В этом наше отличие – и от белянок, и от многих других. Мы умеем не только впитывать, мы умеем интерпретировать. Мы не только ловим, но и запоминаем. А при необходимости можем транслировать.

Мы совершенно пьяные, мы сошли с резьбы, распоясались.

За нами с протяжным воем следует «жаба» – биоформа Управления Регулировки Ментальных Потоков. Здоровенный бугристый мешок балансирующий на длинных, загибающихся кольцами, щупальцах, с гибкими жалами, бьющими паралитическим ядом, под завязку забитый охочими до драки Регулировщиками – парнями в чешуйчатых комбезах и шлемах с выпуклыми смотровыми линзами, которые патрулируют границы измерений и латают астральные прорывы.

Тут мы и показываем свое умение – по команде Винни, которую он транслирует телепатически тонкими «глазными» усиками, мы раскрываем свои крылья навстречу нашим преследователям.

Весь наш улов – мутный наркоманский бред и маньячные всполохи, чернильные кляксы ярости и серое марево тоски – все это вываливаем на наших преследователей. Транслируем...

Они отстают, а мы несемся прочь, резвимся над городом, нарезаем круги, планируем и пикируем.

После продолжаем догоняться в квартире с водяным матрасом и фальшивой дайкатаной – уже по-простому, по-человечески. Две по 0,5 и Данон голосит дурным пьяным басом, вторя приемнику:

– Фореве-ер янг! Фореве-ер янг!

Мне приходит непонятное и длинное смс от Нади, с хмельной лихостью стираю его. Пообщаемся завтра вживую.

– Тем более, что у меня, – говорю я вслух. – К тебе будет Серьезный Разгово-ор, девочка моя!

– Это кто тут девочка? – немедленно отзывается Винни.

– Давай наливай, – машу руку я. – Ай вонт ту би фореве-ер янг!

...Все это я прокручиваю в голове, тщательно обрабатывая римский нос потускневшей дивы при помощи инструмента «штамп».

Было круто, но кое-что меня беспокоит.

С самого утра я звоню Наде. Раз пять подряд, потом кидаю классическую смс «перезвони как проснешься». В течение дня, с интервалами, звоню еще раз пятнадцать. Она не снимает трубку. Оставляю (кажется, это первый раз в жизни) голосовое сообщение.

В аське напротив ее имени краснеет ромашка, очевидно выведенная неведомыми голландскими селекционерами в честь 90-летия Октября.

В конце концов я ловлю Надю вечером на «домашнем-родительском» номере. Снимает трубку ее матушка, издает в ответ на мое приветствие неопределенное мычание.

– Это чего, блин, значит? – спрашиваю я, когда слышу нейтральное надино «алло».

– Зачем ты звонишь? Я же тебе все сказала вчера!

– Но мы вчера не разговаривали!

– Я тебе написала.

– Вот блин... – тут меня осеняет. – Надь, сорри, я случайно стер, телефон глючит последнее время.

– Ты опять с друзьями своими бухал?

– Ну не сказать, чтоб уж «бухал»! Так, посидели, поговорили...

– Сергей, давай не будем продолжать этот разговор. Я думаю, ты все прекрасно понял.

Но поскольку я ничего не понял, ей приходится объяснять, и голос ее все больше и больше раздражается.

А я все сильнее чувствую, как картина моего мира, еще недавно отличавшаяся почти геометрической красотой и ясностью, забавно меняет свои краски и узоры. Точь-в-точь, как крылья психей.

* * *

С тех пор прошел почти год. Я по-прежнему делаю плохую рекламу и ворую у людей плохие сны. У Винни и Данона все по-старому, как и все наши, мы все так же любим тусоваться в местах массового скопления негативной энергии. Как и раньше, мы любим пересматривать старые и новые трэш-хорроры, слушаем восьмидесятническую попсу и металл нулевых, встречаемся раза по три в неделю, пьем как лошади.

Надя снимается в массовке, в фильме про снежных ковбоев. У нее все получилось, у ее нового кавалера – и подавно. На этой картине он работает помощником исполнительного продюсера. Еще у него есть лофт в районе Арбата и ядовито-лимонный «порше».

Но Надя выбрала его не из-за этого.

Свой лимонный «спорт» он явно брал под цвет крыльев. «Махаоны», конечно, пажоны. Но надо отдать им должное – у них есть стиль.

За этот стиль, как она объяснила в памятном телефонном разговоре, она его и полюбила. А еще ей понравился цвет его крыльев.

Все эти черные пятна и прожилки, и траурная кайма, лимонные луны и хвостики на краях. Густо-синие и ядовито-желтые разводы. И ярко-красные «глазки» в черной оправе.

Когда он увидел ее трансформу (я очень отчетливо представил обстоятельства, при которых это происходило, настолько отчетливо, что до сих пор могу легко вызвать в памяти это «ложное воспоминание»), он сразу же показал ей свою.

Откровенность подкупает.

Время от времени я хожу на футбол. Напяливаю любимое черное пальто «барберри» с дыркой от сигареты в левом рукаве, натягиваю на голову капюшон клетчатой кофты того же бренда и «клетки». Покупаю билет, без особых проблем прохожу все эти оцепления из парней в касках и с резиновыми аргументами наперевес.

Одно из преимуществ психей – на пике эмоций толпы, ты сам становишься совершенно незаметным. Никому до тебя нет дела. Отсюда маленькие радости – сидеть на трибуне и тянуть из горла дешевое винище, контрабандой пронесенное на стадион.

Я почти не смотрю на тех парней в измазанных грязью гетрах, которые гоняют мяч. Смотрю на тех, что горланят заряды и размахивают баннерами, а порой (если повезет – и тогда чернильные всплески поднимаются до облаков) швыряются фальшфаерами и с корнем вырванными креслами.

Прекрасное чувство. Чувствуешь, что жив.

Пару раз мне неплохо прилетало. А один раз прилетело основательно.

И если кто-нибудь спросит, стоило ли оно все того?

Спросит теперь, под обрывки пьяного и многоголосого «наш ковер футбольная поляна-а-а», с бутылкой вина в одной руке, а другая выставлена вверх пальцами рогаткой – «виктори», и мяч пролетает у самого края штанги, и кто-то орет «акабы борзеют, валилово на...!» и летит, брызгая пеной, первый снаряд – продавленная алюминиевая банка...

То даже сама обстановка обязывает, вслед за тем английским пареньком, персонажем Дэнни Дайера, воскликнуть «конечно, твою мать, стоило!»

Софья Ролдугина

Лисы графства Рэндалл

Как-то раз по осени собаки лорда Рэндалла затравили огромного лиса. Редкостно красивого – шерсть длинная, шелковая, сплошь черно-красная, а кисточки на ушах и кончик хвоста будто в серебро макнули. Охотники, понятное дело, обрадовались такой знатной добыче. Но только лорд поднял ружье на плечо, чтобы аккуратно пристрелить зверя и не попортить чудесную шкуру, как лис заговорил по-человечески:

«Приветствую тебя, молодой лорд. Хочешь верь, а хочешь не верь, но я Король из-под Холма и великий чародей. И только один день в году хожу в лисьей шкуре. Ты, конечно, можешь пристрелить меня сейчас, а голову мою повесить над камином, но лучше отпусти меня. Владения наши рядом, когда-нибудь да сочтемся».

Лорд Рэндалл был юношей не только красивым, но и хорошо воспитанным, а также весьма умным – словом, весь в почтенную свою матушку удался. И потому он выслушал речи лиса с превеликим вниманием, не стал ничему удивляться и учтиво ответил:

«Что ж, дорогой Лис, если на самом деле ты не лис, а Король из-под Холма и великий чародей, то в таком случае мой долг – пригласить тебя к столу. Скоро уже вечер, и мы как раз собирались вернуться в замок. Повар сделает олененка на вертеле, потушит зайчатину, пару уток запечет – не Бог весть какое угощение, но все же после целого дня в лесу пойдет. Да и вино у меня, не прими за хвастовство, замечательное. Может, это и не слишком щедрое предложение, дорогой Лис, но лучше уж вечерок посидеть за столом по-человечески, чем бегать по лесам и полям. К тому же дождик, кажется, накрапывает».

От такой заботы Лис растрогался, прослезился, изящно утер лапкой острую мордочку и, конечно, принял любезное приглашение молодого лорда Рэндалла.

В замке же повара расстарались на славу. Не пожалели ни пряных трав, ни редких специй, а потому дичь вышла такой замечательной, что и Его Величеству подавать не стыдно. Лорд Рэндалл сел во главе стола, а Лиса усадил по правую руку от себя, на красные бархатные подушки, сам подливал ему вина и развлекал остроумной беседой. Лис тоже показал себя с наилучшей стороны – столовый прибор держал аккуратно, не то что всякие отставные полковники, смеялся легко и искренне, рассказал несколько поучительных историй и одну непристойную. А когда большие часы пробили полночь – и впрямь обернулся юношей редкой красоты, только с лисьими ушами и немного пьяным. Ну, да кто в наше время без недостатков?

«Обычно этот день в году для меня самый несчастный, – улыбнулся он. – А благодаря тебе, юный лорд, сегодня я замечательно провел время».

А лорд Рэндалл, по правде говоря, тоже весьма захмелевший к тому времени, возьми да и брякни:

«Что же ты все зовешь меня лордом да лордом, будто мы чужие? Зови, как зовут все мои друзья – Валентином».

Услышав это, Лис ужасно огорчился, потому что имя-то лорд назвал настоящее. А сам Лис, как ни крути, был Королем из-под Холма и великим чародеем, а значит – нечистой силой, и настоящее имя давало ему безграничную власть над человеком.

«Что же ты наделал, Валентин? – вздохнул он. – Проучить бы тебя, чтобы ты не называл свое имя кому попало – голову, к примеру, отрубить, или превратить тебя на год в бессловесное чудище. Но, видишь ли, я тебе кругом обязан за сытный ужин и радушный прием. А потому мне только и остается, что побрататься с тобой и сказать тебе свое настоящее имя. Зови меня Эйлахан, что значит «Искусник», и будь моим братом!»

Потом они, как положено, обменялись кровью, крепко обнялись, поклялись во всем помогать друг другу – и пьянствовали до самого рассвета, пока не закончилось вино, а их обоих не сморил здоровый сон.

Следующим вечером, когда Эйлахан-Искусник покидал названного своего брата Валентина, то взял с него обещание непременно навещать Замок под Холмом – не реже трех раз в месяц. Валентин заверил его, что будет делать это с превеликим удовольствием. И, довольные друг другом, они расстались.

Дни летели за днями. Все чаще Валентин пропадал в замке своего брата Эйлахаана. И многим такое положение дел совершенно не нравилось – еще бы, лорд водит дружбу с Королем из-под Холма, с великим чародеем!

Наконец нашелся доброхот, который написал в столицу, причем не только Георгу Шестому по прозвищу Карлик, но и самому Епископу – словом, нажаловался властям и светским, и духовным.

Георг Шестой и Епископ были уже глубокими стариками – желчными, сердитыми и с язвой желудка. От вина у них болела голова, а о плясках вокруг костра им пришлось позабыть, кажется, еще в позапрошлом веке. Разумеется, в таком почтенном возрасте они уже не понимали прелесть юношеских забав, а потому не одобрили поведение лорда Рэндалла и решили наказать беспечного юношу. Самым что ни есть жестоким образом – женить на какой-нибудь благочестивой дурнушке из хорошего рода, которая стала бы следить за каждым его шагом и не позволила общаться со всякими лисьими чародеями.

Сказано – сделано. И примерно к середине лета Его величество Георг Шестой издал приказ – лорду Рэндаллу срочно жениться, а иначе, мол, строго не судите – голова с плеч, пятое-десятое. Лордов много, а королевство одно – если не станешь держать их в ежовых рукавицах, так они через год-другой его и развалят, камня на камне не оставят. А к приказу королевскому Епископ приложил свой список невест – выбирай, не хочу. Все набожные, ворчливые и дурнушки. А в конце приписочку сделал: если хочешь, женись, мол, на любой другой девушке, главное чтоб она знатной была, но на всё тебе дается месяц.

Когда Валентин получил оба письма, то очень расстроился. Конечно, ведь от срока, отпущенного ему, оставалось дня три. Как за это время найти себе невесту, если до того за девятнадцать лет ни разу не задумался о браке? Жениться на ком попало молодому лорду не хотелось – еще бы, попадетя девушка неумная и сварливая, так через год сам в петлю полезешь. Однако же терять голову хотелось еще меньше.

Чтобы немного развеять свою печаль, Валентин оседлал коня, поехал потихоньку вдоль леса. Сам не заметил, как оказался у заветного холма, где начинался путь в королевство Эйлахаана. И сразу от сердца у юноши отлегло.

«Что это я, уже с жизнью распрощался? – подумал Валентин. – Зря, что ли, моего названного брата зовут Искусником, великим хитрецом и чародеем? Попрошу у него совета».

Валентин назвал заветное слово. Холм расступился, и открылась дорога в тайное королевство. Слева и справа от нее цвел шиповник, в небе застыли два серебряных солнца, а на мостовой грелись ящерки, зеленые и голубые.



Эйлахан издали почувствовал, что с Валентином случилась беда, и сам выехал ему навстречу, захватив корзину с вином, сыром и яблоками. Какие беседы – да на голодный желудок?

При встрече братья спешили, крепко обнялись и расположились под раскидистым дубом. Там Валентин показал Эйлахану оба письма, и королевское, и епископское, и рассказал о своей горе.

«Говорят, что ты могущественный чародей, брат. Если ты не поможешь мне – то никто не поможет».

Эйлахан задумался надолго, а потом произнес:

«Могущество могуществом, конечно, однако найти за три дня в невесты девушку красивую, умную, благородную, да чтоб еще она с легким сердцем отпускала тебя на пиры в мое королевство под Холмом – задача нелегкая. Но не отчаивайся – я знаю, что делать».

Сказав это, Эйлахан поднялся на ноги, воткнул нож в землю, перескочил через него – и обернулся огромным лисом. Красивым – шерсть длинная, шелковая, сплошь черно-красная, а кисточки на ушах и кончик хвоста будто в серебро макнули. И тут же отовсюду начали сбегаться лисы, большие и маленькие, роскошные и облезлые, рыжие, белые и черные – словом, всякие. Они садились вокруг дуба, а когда собралось их великое множество – начали перетявливаться с Эйлаханом. И так, кажется, разумно, почтительно – как вассалы со своим королем. А потом разбежались, будто их и не было. Эйлахан перепрыгнул через нож и снова стал собою, только левый ботинок с правым у него перепутался и уши остались лисьими – ну, да кто из нас без недостатков?

«Слушай, Валентин, – сказал Эйлахан. – Все, что мог, я сделал. Давай подождем два дня, а если за это время не найдется для тебя хорошая невеста – женишься на той девице, которая у Епископа в списке предпоследняя. Я ее мать знавал, Ирэн Чернушку. Славная девица была, хоть и кривая на один глаз. Ведьма – авось и дочка в нее пошла?»

На том и порешили.

Два дня провел Валентин в волнении и ожидании. А утром третьего собрался было послать за девицей, на которую Эйлахан указал, как послышалось у ворот лисье тявканье. Вышел он на дорогу и видит – стоит повозка расписная, но ужасно облезлая. Впряжены в нее самые что ни есть обычные лесные лисы, а внутри, на скамье, сидит замарашка чумакая в голубом платье и поглядывает сердито.

Пока Валентин соображал, что да к чему, одна лисица из упряжи выпуталась и подошла к нему. Он глянул – а у лисы в зубах конверт с Эйлахановой печатью. Раскрыл его, прочитал письмо:

«Милый брат!

Нашел я тебе подходящую невесту. Это единственная дочь герцога Марксбурга, Гвенда Пропавшая. Цыгане ее выкрали двенадцать лет назад, а теперь ей шестнадцать исполнилось – самое время замуж выходить. Покажи ей то кольцо, что я подарил тебе зимою – цыгане ко мне большое уважение имеют – и поспеши сделать предложение. А как обвенчают вас по церковному обычаю, так поезжай к герцогу Марксбургскому с вестью, что нашлась его дочь. И не забудь показать ему медальон с птицей, который она носит на шее. Твой навеки Эйлахан».

рочитав письмо Валентин приободрился и вспомнил наконец о манерах. Поприветствовал замарашку, как настоящую леди, показал ей заветное кольцо и предложил руку, сердце и все прочее, что в таком случае полагается. Лис же велел накормить лучшей зайчатинной и отпустить на волю.

Неизвестно, что на девицу произвело большее впечатление – Эйлаханово кольцо, обращение с нею или с дикими лисами. Однако она тут же согласилась стать женою Валентина и идти с ним по венцу.

После все сделано было, как Эйлахан посоветовал. Тем же днем и обвенчались, а наутро поехали к герцогу с радостной вестью. Замарашка отмытая, кстати сказать, оказалась настоящей красавицей – волосы будто темная ночь, кожа нежная, словно драгоценный шелк, а глаза сияют, как звезды, и все такое прочее, о чем обычно поют романтические менестрели. Нрав у нее, правда, был не самый смирный – за словом Гвенда в карман не лезла, порою острым язычком своим так могла приложить, как иной и батогами-то не вдарит. Но почему зря она с мужем не спорила, на людях держалась с ним почтительно, а вскоре полюбила его всем сердцем.

А Валентин, что Валентин? Он в молодой жене души не чаял. И даже не сердился на нее, когда она его, к примеру, в шахматы обыгрывала – а это, надо сказать, среди мужей качество редкостное.

Что же до герцога Марксбурга, то дочь свою он признал сразу, как увидел. Упал на колени и разрыдался, хоть, говорят, прежде за всю жизнь из него никто слезинки выдавить не мог. Ну, да леди Марксбург быстро все в свои руки взяла. Кинулась к дочери на шею, обняла, расцеловала, Валентину улыбнулась по-матерински – словом, проявила себя как нельзя лучше.

Георг Шестой, которого в народе Карликом звали, как услышал про это – едва не лопнул от ярости, да Епископ его успокоил.

«Ни к чему теперь с лордом Рэндаллом ссориться. Он нынче в родстве с самим герцогом, а герцог после вас первейший наследник престола. Если зятя его драгоценного заденете – может и бунт поднять. Кому оно нужно? Главное, что с молодой женой-то лорд под Холм ездить перестанет, а нам того и надо было».

Послушался король разумных речей и успокоился.

Да жаль, ненадолго.

Через год у Валентина наследник появился – очаровательный мальчик: глаза материны, стать отцовская, а хитрость лисья аж с пеленок чувствовалась. Еще год прошел – и еще сын родился, а потом и дочка. И впрямь стал Валентин реже ездить к своему брату, однако не забывал его. На все праздники в гости звал, о рождение детей ему первому сообщал – словом, вел себя, как и полагается настоящему родичу. А Эйлахан, хоть и смотрел молодого лорда с радостью в глазах, но все же нет-нет, да и вздыхал грустно, вспоминая прежние годы и юношеские шалости.

И все бы хорошо, да только годы шли и для старого короля, для Георга Карлика. И чем сильнее горбилась его спина, чем больше морщин становилось на лице – тем хуже делался и нрав. Всюду виделись королю враги. Он уж стал и с Епископом ссориться.

Тем временем младшенькой Валентина восемь лет сравнялось, а старшему, наследнику – двенадцать. Стал Валентин сына возить «к дяде» в гости – к брату своему названному, к Эйлахану. И снова нашелся какой-то доброхот, который не поленился в столицу написать. Все он припомнил – и то, что лис в замке привечают, как дорогих гостей, и что леди Рэндалл цыганских обычаев не чурается, и что, мол, лорд не только сам с чародеем якшается, но еще и дитя невинное с пути истинного сбивает.

И надо же такому случиться – привезли этот злосчастный донос в то самое время, как разбила короля подагра. Тут уж любой человек будет к милосердию не склонен, а желчный старик. Зачитал ему письмо придворный чтец. Король только и сумел выдавить, люто вращая глазами:

«Всех казнить на месте!».

Сказанного не воротишь. Утром получил карательный отряд благословенье у Епископа и помчался по дороге в графство Рэндалл.

У Эйлахана сердце было чуткое. Задолго заподозрил он неладное, да истолковал неверно. Боль-то слепа. Подумал Эйлахан:

«Верно, я просто тоскую по прежним временам. Как мы, бывало, с Валентином ночь напролет под Холмом веселились – танцы вокруг костров, вино из лунного света, чародейство. Правду говорят, что ближе брата нет никого на свете. А нынче Валентин все с женою да с детьми. Ко мне приезжает – так и сына везет с собою...»

Подумал так – и решил позвать брата в гости одного, чтоб хоть на одну ночь все стало по-прежнему. Валентин, как получил письмо, не смог отказать. Но все ж и ему тревожно было. Подошел он к жене своей, Гвенде, и спросил:

«А нет ли такого средства у цыган, чтоб знак подать, если близкий человек в беде?»

Гвенда подумала и ответила:

«Есть такое. Погоди».

Сняла она с шеи медальон герцогский, с птицей, и острым краем раскровила себе палец. Потом подозвала детей и им велела сделать то же самое. После нашептала над медальоном нужные слова – и кровь вся в серебро ушла, будто ее и не было.

«Вот, – протянула Гвенда мужу медальон. – Держи его над сердцем. Если со мной или с детьми случится что-то, птица закричит, а из серебра выступит кровь человеческая».

С поклоном принял Валентин этот медальон, надел цепочку на шею, заправил под рубаху – и стал прощаться. С легкой душою поехал к брату, зная, что если будет грозить жене опасность, то птица подаст знак.

Эйлахан же, обдумав все хорошенько, решил, что будет эта встреча последней. Негоже простому человеку с чародеем водиться, какую сказку ни вспомни – всегда от такой дружбы бывает одно горе. Да и ему, Эйлахану вечно юному, тяжело смотреть, как брат стареет. Вон, и нитки седины уже в волосах появились, и шаг стал не такой легкий. Век человеческий короток – зачем же Эйлахану время у Валентина красть, которое он мог бы в замке провести, с любимой своей семьей?

И, решив так, устроил под Холмом развеселый праздник – так, чтоб не жаль было потом «прощай» сказать.

Поет лира, вторит ей флейта, костер взметнулся до неба. Пляшет в венке из листьев и осенних цветов Эйлахан с девицей-лисицей. Пляшет и Валентин. Льется рекою вино из лунного света. И никто не замечает, что время замерло – там, снаружи, три дня прошло, а под Холмом всего час. Видно, так не хотел Эйлахан брата своего названного отпускать, что против собственной воли сотворил страшное чародейство.

А между тем отряд королевский все ближе и ближе к замку подбирался. Гвенда по мужу истосковалась – села у окна, запела печальные цыганские песни, а дочь ей подпевать стала, как умела. Сыновья тоже погрустнели, бродят по замку, места себе не находят.

Под Холмом второй час всего пошел, а снаружи – целая неделя пролетела. Уже постучались в ворота замка палачи, притворяясь мирными путниками – а Валентин о том не ведает. Вино из лунного света легкое, да пьянит сильнее самых крепких напитков.

Звонко пела флейта, и не слышен был за нею слабый голос птичий:

*Молодой лорд, молодой лорд!
Ты пируешь и пьешь вино,
А жену твою во двор за косы выволокли
И хотят отрубить ей голову!*

И выступила на медальоне первая капелька крови.
Вздрагнул Валентин.

«Брат, не слышал ли ты ничего? Будто птица запела...»

«Нет, не слышал, – качнул головой чародей захмелевший. – То, наверное, лира была».

Еще минута прошла – снова запела птица, уже громче:

*Молодой лорд, молодой лорд!
Ты пируешь и пьешь вино,
А сына твоего старшего
Связали и бросили в реку!*

И выступила вторая капелька крови.

Страшно стало Валентину, а он все на вино грешит, понять не может, почему так плохо.

«Брат, не слышал ли ты птичьего пения?»

«Нет, не слышал. То, верно, флейта была».

И полминуты не прошло – запела в третий раз птица громче прежнего, заглушила флейту и лиру:

*Молодой лорд, молодой лорд!
Ты пируешь и пьешь вино,
А младшего твоего сына травят собаками,
Как лису на осенней охоте!*

Тут весь хмель у Валентина как ветром сдуло. Схватился он за медальон – а тот весь в крови. Эйлахан тоже побелел, сам стал на мертвеца похож. Понял сразу, что случилось.

«Это, – шепчет, – я виноват».

Воткнул нож в землю, перекинулся в огромного лиса и кричит:

«Садись на меня, Валентин! Кони будут час ехать, а я тебя в замок за три удара сердца домчу!».

Вскочил Валентин на Лиса, вцепился в чернокрасную шерсть – и тот взвился вдруг в самое небо, через холм, над верхушками деревьев.

И запела в последний раз птица:

*Молодой лорд, молодой лорд!
Близко ты, а все ж не успеешь:
Отыскали палачи твою младшую дочь,
Хотят сбросить ее с замковой стены!*

Ёкнуло у Валентина сердце, смотрит он на медальон – но четверть его пока чистая, только покраснела немного.

Прыгнул Лис к замку в тот самый момент, как девочку со стены столкнули. Сбросил с себя Валентина, метнулся наперерез, у самой земли подхватил малютку и положил у ног брата.

Увидел ее Валентин – избитую, едва дышащую – и, обнажив меч, бросился в замок. И так велика оказалась его ярость, что даже королевские палачи против него ничего не могли сделать. А кто мог – того Лис пополам перекусывал, и была это страшная смерть.

Как закончился бой, разыскал Валентин свою жену и младшего сына, но едва их узнал – жестокости были палачи. Упал на колени перед мертвыми и заплакал. Плакал до самого рассвета, а когда поднялось солнце, то увидел Эйлахан, что стали волосы у его названного брата белые-белые.

И вдруг затявкала у самого речного берега лиса. Прислушался Эйлахан... и окликнул брата:

«Сына твоего старшего Речной Хозяин укрыв. Но требует за него высокую цену – человеческое сердце. И не простое, а близкого человека, родного, – и зубы стиснул. – В том, что случилось, моей вины вдоволь. Моя музыка заглушила птичий крик, мое чародейство остановило время. Я отдам Речному Хозяину свое сердце».

Но Валентин только покачал седой головой. Глаза у него стали, как у старика.

«Нет, Эйлахан. Это я виноват, что не пришел на помощь своей жене. Это я пировал, когда детей убивали. Я отдам свое сердце Речному Хозяину, а ты заведи дочь мою и сына моего под Холм и воспитай их, как своих детей».

Горько сделалось Эйлахану.

«Нет, не живут люди под Холмом – место их на земле. Давай поступим так, брат мой. Ты отдашь Речному Хозяину свое сердце целиком, а я отдам тебе половину своего. Но учти: сделаешь это – перестанешь быть человеком. Придется тебе ходить в лисьей шкуре сто лет и один день, а человеческий облик принимать только под Холмом».

«А дети мои?» – спросил Валентин.

Эйлахан подумал и ответил:

«Я позову лис, они отвезут их к герцогу Марксбургу. А ты напиши письмо и расскажи в нем все, как есть. Герцог Марксбург – хороший человек, он позаботится о своих внуках».

И только они решили так поступить, как поднялась из реки тугая волна и перенесла маленького лорда Рэндалла через замковую стену. Эйлахан излечил детей, погрузил их в сон и привязал к лисьим спинам. Тут поднялась вторая волна и ударила прямо в Валентина, а когда схлынула – он упал замертво. Эйлахан вынул у себя из груди половину сердца, вложил ее в грудь брату названному и тут же обернулся лисом. А следом за ним – и Валентин. Переглянулись они черными злыми глазами – и взвились прямо в небо, а потом побежали по облакам к столице.

А что дальше было, никто не знает точно.

Люди поговаривают, что не сам Георг Шестой помер, хотя и был ветхим стариком – мол, набросилась на него странная лиса, чернобурая с проседью, и перекусила горло. Видно, брешут – откуда лисе во дворце взяться?

Еще говорят, что на том месте, где погибла Гвенда, выросли прямо из камня белые, как снег, цветы, а там, где погиб младший ее сын – красные, как кровь. Но и тут, верно, привирают – как цветам из камня прорасти?

Что же известно наверняка, так это то, что герцог Марксбург стал потом королем, а после, когда он умер, трон унаследовал Ричард Рэндалл, герцог Марксбургский. Но это совсем другая история.

Про лис в графстве Рэндалл и поныне рассказывают странные вещи.

К примеру, ходит среди людей одна легенда: мол, если какая-нибудь девушка будет в лесу громко смеяться, то навстречу ей выйдут два лиса, красно-рыжий и чернобурый. И будут они огромными, в человеческий рост, и говорить будут тоже по-человечьи. И краснорыжий порою предлагает хохотушке прокатиться на своей спине под Холм, а чернобурый вздыхает по-своему, по-лисьи, и смотрит в сторону развалин.

Там, говорят, раньше замок был, а кто в нем жил – никто уже и не помнит.

5. Слезы

По моему богатому опыту наблюдений за плачущими, это хороший признак: в момент увеличения интенсивности рева человеку обычно становится гораздо легче.

Макс Фрай. «Сундук мертвеца»

Любовь – это сладкая западня, с которой никто не расстается без слез.

Эрик Берн



Сергей Игнатъев

Цепочка

1. Филипп «Видак» Ворсотеев

Тогда, сами понимаете, бардак страшный был. Сократили полштата, страна на куски распадалась... Я в этом «ящике», в отделе Урманяка, на тот момент отвечал за кадры. До пенсии – шесть месяцев... И вот пошел слух, что будет тестовый запуск... Вызвался сам. Ну а что мне? Пенсия эта, дача? Обеспечил уже вроде оглоедов этих... квартира на Ленинградском... «Волга» с гаражом. Дача там, яблони, смородина там, ежевика... а я-то кому нужен в этом раю? Старик. Обуза. Ох, и ладно. А тут... хоть какая-то польза... Ну, тогда так казалось, во всяком случае.

Готовили нас как первых космонавтов. Опыты сперва делали тоже на собаках, свои Белочка и Стрелочка у нас имелись. Звали иначе. Сказать? Вша и Блоха! Такой был юмор.

Когда уже выходили на ЦК, Урманяк собрал всех, мол, какое название официальное будем утверждать... «Вакула», я предлагал так назвать, помните у Гоголя? На черте верхом в Петербург. Ну, тут понятно куда целили – в Вашингтон, округ Колумбия. Одно дело жучок ему ввинтить в «паркер», а другое дело, когда ты сам в этом «паркере», как капитан Немо в своей подлодке. Обзервируешь, так сказать. В самом сердце буржуинского стана. Но Громеев предложил назвать «Цепочка». Это отвечало сути. Так и назвали. Громеев- то тогда был огого! Голова! Вот скажи пожалуйста, кто бы мог подумать...

Сложности? Вот помню, было тогда семнадцать годков мне. Я как-то в болоте по подбродок, вот посюда вот, просидел сутки. Патруль по бережку ходит, анекдоты рассказывают, кидают бычки... фельдфебель пьяный, пилотка набок: гебен зи эйнен лихт Иван... и очередями из «эм-пэ» так... поверх камышей... ради развлечения... конечно не знали, что я там... А я в тину... по уши... Ракета пошла сигнальная – по самые уши туда, в тину эту... Потом вынырнул – воздух хватаешь, плюешься. Главное – тише, тише... Затаился и ждешь, ждешь... На вторые сутки наши вытащили, еле говорить мог. Как сейчас помню – карандаш из пальцев выпадает, всего трясет... Надо рапорт писать. Расплакался, как девка... Спирту налили. Переоделся, подсел к печурке. Отошел кое-как. Стыдно потом даже, аж уши горят... Вот это было сложно. Волховский фронт, разведроты. Вот это было сложно, действительно... Остальное все потом уже херня просто-напросто. Не страшно.

Что смущало... Ну порнографии конечно много было. Особенно по-первости. Пошел вал. Собирались толпой, лица такие удивленные, глаза по пять копеек. Еще и накатят. Для храбрости. Помнят, как в восьмидесятые паковали за это. И смех и грех. Те, которые парами приходили, наверняка пытались повторить потом у себя дома... я воображаю!

Дальше уже баловство пошло, какой-нибудь мальчишка откопает у родителей в шкафу Смоковницу или эту Эммануэль блядскую. И давай смотреть. И страшно и сладко. И глаза вот такие же. Блюдца, а не глаза!

Трудно удержаться, конечно. Бывает, зажую, чтоб неповадно было. Она там только трусики потянула до коленок, этот, значит, зритель, только наострил себя за срамной уд ладошками... а тут я раз!! Опа! И помехи, машина пищит, скрежет, лязг... Надо видеть выражение лица!

Ладно там еще когда единоборства... Сигал, или вот Чак Норрис... Видно, что мужики стоящие. Ногой ему в морду, прямо вот как засветит. Но там видно, что за дело. Так ему гаду и надо... Сразу понятно. Может ребята вот посмотрят, в секцию запишутся, хоть городки кидать, или баскет, или я не знаю что...

А тогда вот ужастики эти пошли... Какой-то в шляпе обгорелый там ходит, у него перчатка с лезвиями... Ну как сказать? Какой-то мудака в шляпе, и больше ничего. И ходит он, убивает он. Мудака... Да чтоб я, советский офицер, с таким мирился. Тоже помех пускал, зажевывал как мог. Один раз даже взял вот просто и взорвал, не удержался. Никто не пострадал, конечно. Кроме обоев. Списали на тайваньского производителя... Нет, ну сами посудите, детям голову забивать таким говном, извините за выражение? Что же вырастет из них, если... Ох... Да что теперь вспоминать это все, дело прошлое. Глупости.

Громеева жалко. Хороший парень. Нервный очень. С самого начала видно было – не сдюжит. Другое поколение совсем.

Арсик... Царбумян... Как живого вижу перед собой – всегда был такой веселый, глаза горят. Но ему тяжелее всех пришлось. Одно дело работать с предметом, другое – с предметом культурной значимости, с объектом, так сказать, творчества, духовным символом... Никто не верил, что получится. Ну-у... вот и не получилось нихрена... Он один и верил в это... На рок-музыке его заклонило, кажется... Тоже вот, навезли из-за кордона, как будто своих «песняров» мало было... Жалко парня. Очень жалко.

Кольбец? Ничего не могу сказать. Даже не спрашивайте. Бог ему судья. И все тут. Нечего говорить.

А Соньку тоже помню, конечно, хорошая девчонка, бедовая. Она работает еще? Ну... дай Бог ей. Она не пропадет. Огонь-девка!

Про шефа? Пусть сам вам все расскажет, если не засох еще, сукин шалфей.

Да нет, куда мне? Годы не те. Только ночью, конечно, глаза закроешь – и поехало... Вот недавно четыре сезона «Прослушки» посмотрел. За неделю-две. Хороший сериал. Показано, как они работают. На совесть. Мы такие же были, идеалисты. Особенно та сцена, где они преступление раскрывают в течение пятнадцати минут, используя только мат. Фак-фак-фак... фак ю, фак ми, мазафака, воттафак... Ну, вы знаете... Мы так примерно и работали тоже в наши лучшие годы, только вместо фака этого по-нашему выражались... по-советски. Так заворачивали, бывало...

Конечно, еще смотрят, пользуются. Некоторые из ностальгии, некоторые так... Не все же в интернете еще можно найти.

Еще, заметили, сохраняется какая-то тяга к предметному миру. Кассету... ее, понимаешь, в руках подержать можно. С дэвде этим хренеде я не пробовал работать, не знаю. Но кассета... Лента эта, понимаете, корпус... Что-то вещественное... Настоящее.

Устаю, бывает... Что тогда? Корвалол плюс валокордин...

Да ну, глупости это все... Какие там сомнения? У нас был приказ. Мы его исполняли. А там хоть в топор, хоть в резиновую утку, хоть в портрет Маркса. Без разницы. Приказ есть приказ. Такая работа. Вот и все.

2. Валерий «Теннис» Кольбец

Поймите, я тут начну объяснять... это все будет звучать лайк э джоук, шутка, ю ноу.

Ну что рассказать про работу: скачешь-скачешь весь день как угорелый, хе-хе-хе... Зато к вечеру все про всех понимаешь. И про эту страну, с позволения, сказать. И про тех, кто ей управляет.

Сбежал? Я не сбежал, я переместил активы на другой депозит. Более выгодный... во всех отношениях. Только бизнес, ничего личного. Помните это кино? Спросите у ветерана нашего, у Ворсотева... он наверняка и его тоже смотрел. Он их все смотрел, даже порнуху! Он жив еще? Ну и гуд. Хороший дедушка. Ю мей хэв и ю мэй хэв нот, да? Спросите у Громеева, его в честь старика Хэма назвали. Эрни, хе-хе.

Застрелился? Глупо.

Глупо... Щ-щ-щит... Соу стьюпид, реалли. Хи воз э найс гай, ю ноу.
Не жалею? Себя? Я? Нет, абсолютно.

Понятно было сразу... что совок обречен. Мы пытались там что-то менять. Фиксинг финьгз... Я решал вопросы. Наводил движения. Что мог – сделал. Нет, не жалею, что переехал.

Вот внуки сейчас уже заправляют целой франшизой. Работаем с крупными инвесторами. Сенаторы, судьи, шеф полиции, мэр... Есть куда расти. Я даю советы как могу. Вы понимаете, что у меня есть чем помочь, хе-хе-хе...

Не я выбрал эту игру. Но игра есть игра. Гейм из а гейм, йен?

Вот об играх. Я теперь живу как, знаете, в «Симс». Лужайка, барбекю, камин, ложки для смешивания салата, кленовый сироп, специальная дверца для кошки в нижнем отделе двери. Френдли нейборхуд.

Меня туда, в отдел Урманяка, перевели с Внешторга, в Союзоборонстрой, в его отдел. Как сейчас сказали бы, ай воз... это... эффектив кризис менеджмент. Надо было решать вопрос. Прикрыть, как это говорят у вас там, лавочку...

Но меня проект заинтересовал. Увидел в нем перспективы.

С экс-президентом? Не могу рассказывать, секретность. Конечно. Много раз. Подача хорошая у него. Если бы еще закручивал кисть, э литтл-бит, ю ноу, чуть-чуть.

Сам? Нет-нет, я играю только в гольф. С мэром и шефом полиции, вы угадали.

Голова побаливает. Стук-стук-стук-стук всю ночь. Но ничего, можно потерпеть... Бар-битал. Флунитразепам. Прозак. Это того стоило, эм ай райт?

По морде ракеткой? Больно? Не сгущайте краски. Во-первых, можно привыкнуть. Надо мыслить более... абстракт, фри майнд. Это часть работы. Во-вторых тут, как я уже говорил, важна не сила удара, а поворот кисти. В-третьих, что значит «по морде»? Даже наши совки сформулировали: субагент. Временный представитель. Если кто-то плюнет на автобус, в котором я еду, значит ли это, что он плюнул в меня? Ю тара би киддинг ми, мэн, хе-хе-хе.

Вот фор? Ага. Это все ради будущего. Мы делали это ради будущего. Фор зе бьютифул фьючер. Энд венчур инвестишинз, хе-хе. Стране нужны были перемены. Но кто-то должен был регулировать их. Контора с этим не справилась. Как она не справилась с Сахаровым и Бродским. Как она не справилась с бардами. С джинсами. С желанием людей дышать свободно... Невозможно задушить в людях стремление к гу-у-уд лайф.

Но я не жалею. Не жалею, нет. Они хорошие люди, конечно. Мы очень дружили, ездили пару раз на шашлыки вместе. Где-то под Барвихой, чья-то дача. Там теперь наверняка везде заборы под два метра и колючая проволока в три ряда, йен?

Хорошие ребята. Но кого я обманываю? Они, как это сказать по-русски... они, сори май френч, лузерс... Неудачники.

Каждый сам держит свою судьбу в руках. Знаете, вот как мячик. Скок-скок-скок. Тут важно не ошибиться в подаче. Сделай умную подачу – и сет за тобой.

Не надо так смотреть на меня. Кроме шуток. Мы старались. Мы делали все, что могли. Лично я делал. Я не виноват, что вышло то, что вышло. Я просто хочу, я всегда хотел, чтобы мои внуки жили вот как... вот как в игре «Симс».

Лужайка, дверь для кошки, барбекю, блять, ложки для смешивания кленового сиропа... Кевин любит динозавров, а у Розы отличные успехи в математике. Я читал ее сочинение по «Ватершип Даун» Адамса, и нашел там шутку про СССР, и ведь она просто не представляет себе... Не представляет себе ничего... Нихера они не могут себе вообразить даже...

Ну и что я хочу сказать? Ради этого, пожалуй, стоит угребываться мордой о корт двадцать четыре часа в сутки в течение двадцати пяти лет, разве нет?

Если вы считаете, что нет, я ударю вас клюшкой- драйвером прямо в лицо, как бы пытаюсь выбить на триста метров.

Фак ю, энд фак йо факинг рашен патриотизм, энд йо совок кантри, дорогие мои, энд фак зе факинг ворлд, коз ю ноу... Пипл из пипл. Ворлд из ворлд. Ничего никогда не меняется. Как бы мы не старались.

Кстати... Я так и не сжег свой партийный билет. Вотэвер...

3. Софья «Барби» Багревская

У меня никогда не было личной жизни. Симпатичная девушка за 30, успешная карьера, вера в завтрашний день. В отделе одни мужики. Все заигрывали, но никто всерьез.

Потом я стала Барби.

Барби всегда хорошо выглядит. Всегда улыбается. У нее длинные загорелые ноги и розовый пеньюар с опушкой из страусовых перьев.

У нее есть свой Дом с розовыми обоями, у нее есть своя розовая машинка. У нее осиная талия, свой парикмахер и у нее есть свой Кен.

Я – Золушка-златовласка, мечта целого поколения. Даже мальчики не гнушались таким подарком, надеясь рассмотреть что-то, затаив дыхание, раздвинув безупречные пластмассовые конечности.

Что они там нашли? Очередную ложь мировой закулисы. У Барби есть парень, он купил ей дом и тачку, но ей нечем с ним епстись, оплачивая кредит.

Добро пожаловать в реальный мир, мальчики.

Идите лучше купите сотки с порнозвездами в нижнем белье. Если положишь их языком, белье у них растворяется и можно посмотреть на сиськи.

Субагент может находиться в предмете не более суток, иначе – гарантированное сумасшествие. Никто не учитывал побочный эффект.

Мы закрываем глаза, мы ложимся спать. И мы снова в предмете. Как спастись? Дормиплант. Донормил. Пустырник.

Говорят, именно это сгубило Арсика и Эрни. Работа догоняла их во сне. Для меня работа и сон давно стали неотделимы. Я не хочу отделять их. Мне так уютней.

С Эрнестом у нас был роман, это правда... Но был. Непростой человек, мягко говоря. Много пил. А после назначения. Это его и сгубило. Я не хочу говорить об этом. Еще он всегда слишком все драматизировал. С ним было трудно.

Я не люблю когда трудно. Я устала от трудностей.

Теперь я нашла себя. Я пишу для детей. Странные сказки. Говорящие фонари, куклы в цветных шапках, пряный ветер приключений, шепот сосен и скрип качелей, манекены с нарисованными улыбками и говорящие птицы, поцарапанные коленки и дробь веснушек на щеках. Романтика фэнтези, которую мы потеряли. Федя Завятский помогает пристроить в редакции. Критики даже хвалили пару раз. Иногда думаю о том, что Федя проплатил и им. И сразу стараюсь переключиться.

Я хочу, чтобы так и было. Чтобы так оставалось всегда. Чтобы просто. Как сейчас. Кажется, я, наконец, счастлива.

4. Арсен «Мафон» Царбумян

что такое осень это осень это мы идем рассыпая под ногами вихрь желтых листьев и в лужах разлетаются в дребезги все наши надежды и мечты и серп и молот тонут как груз на шее гришки распутина или кукурузника Хрущева в плетеном кресле погружающимся в прорубь туда же куда спустили стеньку разина или колчака хуйчака или крейсера варяг или подлюдки курск уходящего ко дну там за туманами вечно молодым вечно пьяным где в море тонет печаль и ели мясо мужики там уходят круизы в страну зонтиков в коктейлях и красивых пальм

баунти райское наслаждение спросите у завятского спросите как ему это нравится осень вновь напомнила нам и себе и главное себе самой чтобы разбежавшись прыгнуть со скалы о самом главном напоминает нам всегда что это академики чешут плечи и погоны свистят в свисток и это песни осеннего рода это нам бы прочь от земли туда где утонуло все утонула наша страна знаете это как цепь действительно громеев сука все правильно придумал мы цепь мы оцепление цепь она огораживает не пропускает но еще на нее мы звенья звено первое отдать честь флагу так точно звено второе отдать честь флагу трубит горн шею стягивает красная тряпица флаг медленно ползет вверх в голубому крымскому небу на губах пузырится теплая пепсикола это цепь на первый второй рассчитайся мы звенья цепи и можно посадить нас самих на эту цепь особенно вспоминаешь об этом ночью особенно ночью когда шуршит над головой как вампира черный плащ цепь порвалась звенья остались и ветер вновь играет рваными нашими мечтами а ответ на вопрос что же будет с родиной знает вероятно только товарищ ворсотеев старый дурак звенящий своими медалями или товарищ урманяк который придумал весь этот бред твои холодные пальцы пухлые груди сильные губы видно дьявол тебя целовал ведь я умираю когда меня кто-то лечит галоперидолом вся задница исколота шотами и эти рукава смиренного пенюара длинные как у пьеро давай вечером с тобой встретимся на китайском говорить но в очереди к дежурной медсестре я успеваю посмотреть в окно и то что я вижу МКАД и все в нем говорит мне о том что ничего не изменилось что никогда ничего не меняется громеев был прав да только поздно поздно дети мои все дело в том что наша страна живет музыкой которая пишется кровью для того чтобы понравится нашей стране надо пролить эту кровь это знали Пушкин Гумилев и цой и хой и летов и хуермонтов и хуяковский и хуерький ты можешь скакать клоуном на проволоке или рычать медведем на цыганской цепи все будут хлопать и смеяться но запомнят тебя только тогда когда ты ляжешь поперек площадной брусчатки с простреленной головой или уйдешь в вечность под горной лавиной поправляя свитер крупной вязки и насмешливо адресуя потомкам так в чем сила брат и между прочим вчера ночью я летал в рай и все что я смог вынести оттуда что знаете там красивые облака

5. Эрнест «Акциз» Громеев

я следовал инструкции зпт я попробовал все зпт попробовал рояля зпт попробовал распутина зпт и он даже подмигивал мне вскл я попробовал все коньяки зпт текилы зпт текелили зпт водки зпт спирты зпт наливки зпт пастисы зпт пастиши зпт гиннесы зпт хуйгардены зпт но тут ничего не изменить тчк делайте с этим зпт что хотите тчк счастливо оставаться зпт дорогие товарищи псы вша и блоха тчк вы справились с заданием тчк мы нет тчк я наслушался и посмотрелся тчк теперь я видел все тчк я видел кубу и дальний восток зпт я мыл сапоги в индийском океане и метал решетом золотой бисер на лене зпт и на свете зпт и на марине тчк и что достигнуто впрсзн что удалось использовать впрсзн ничего тчк я бухал со всей страной зпт с каждым зпт я знаю что вам надо тчк мечтали в космосе зпт а полетели в хургаду тчк мечтали о счастье для всех разом зпт а лучше колбасу без очередей тчк у меня еще полбутылки буржуазного джони уокера и ждет старина Макаров в ящике стола тчк успехов в труде вскл соня пламенный комсомольский привет вскл

6. Федор «Сникерс» Завятский

Ну так-то конечно, гребу дамся. Если вспоминать.

У меня высшее юридическое образование, отец – замминистра... Какой-то другой человек вообще был. Но чего делать-то, была такая постанова. Раз я самый малой там в отделе. Только что с академии, уе-мое. Поэтому ставку делали что типа буду по-молодежной линии. Ну хэзэ, на самом деле, как получилось.

Что-то получилось. У меня своих три магазина. Ночной клуб. Бани.

Смекните сами, когда типа по триста раз за ночь кусают и жуют... Это не может не повлиять на это... как сказать... на социальное, сука, восприятие жизни. Хочется взять, на самом деле, и угреть. Каждому. Лично. С разворота с ноги по щам. За страну, за поколение и чисто так... для разрядки.

Вот каждый раз то есть, приколы, он хомячит меня жвалами своими, урчит аж, как сытно, а я читаю что у него в голове.

А там че? Там пусто, епт. Там ничего нет. Взрыв вкуса нахрен... Съел и порядок.

Подувлекся марочками. Не-не, я не про лизергиновое барокко наше лядское отечественное. Я про, натурально, марки. Знаете, какие ценятся? Типа вот ей сто лет в обед, там какой-нибудь кайзер или император на лицевой морде. А у нее зубцы обломанные если, и клеевой слой с обратной стороны поврежден – то че тогда? То стоимость приравнивается к стоимости пересылки. Типа дешевка. Я вот думаю мы все такие. В том смысле, что нибуя не дешевка, за это готов ответить строго. Но зубцы пообломали нам конкретно. И клеевой слой. Что типа держало, да? Типа связывало нас с чем-то нашим исконно-сука-посконным. Это все потеряли. Через это и страдаем.

Так-то пох... Че мне? Бывал на терках, разборках, бывал на сходах и расходах. Многажды, братка. Кожанки, треники, балаклавы, акашки сорок седьмые, тэтэшки, после уже хеклеркохии всякие ингремы, импорт налачился... Моя стихия, бля. Знаю все это изнутри типа. Ну че, покуролесили нормалец. Никто даже и не заметил какбы. Снова живем и дышим. Страна наша непобедима, оттого что стойка. Не знаю, что еще сказать вам. Наверно, у Урманюка нашего был какой-то свой план. Типа как знаете у индейцев этих гребучих в штатах, или там, бля, у пигмеев в Африке. Такие тотемы... Вот мы эти тотемы стали потипу. Он думал мы ухватим суть, поможем типа... снизить ущерб. Не знаю... Хотя бы на время.

Каждую ночь жуют и пережевывают. Что помогает? Белый, спиды, шмаль... Ладно... Люди, бля... Хуль с них взять?

«Цепочка»... Выдающийся, ептваю, проект был. Сблизил меня с моим народом. Если увидите Урманяка – насыте на него. Впрочем... Ему это наверное понравится. Все. Валите отсюда.

7. С. И. Урманяк («Фигус»)

Убили меня под Ханкалой, в 95-м. Вертолет уже пошел на снижение... И тут прямо в топливный бак прилетело. Полыхнуло, как на масленицу... Работали зрк «Игла».

Ничего не почувствовал. В Бурденко в реанимации неделю пролежал, как потом рассказали. Когда стало понятно – что все, писец, загрузили – куда подвернулось. В Знаменске-четвертом оставался еще прототип. Подвезли его в Москву.

Надо было выбрать предмет для загрузки субагента. Подвернулся фигус в кабинете зама. До сих пор кажется, что это чья-то злая шутка. Но я их не виню. Я многим стал поперек горла.

Слишком много мечтал.

С кем общаюсь? Не с кем. Жена, Зина – покойница. Дочка Настя, у самой скоро внуки будут. Эмигрировала по месту жительства мужа. Черногория... Русское Средиземноморье. Скучаю? Конечно. Но что поделаешь...

Как общаемся с сотрудниками? Ну, я им веточками машу. Как моряк флажками.

Иногда смеюсь про себя: вот мол, кассетные видаки ушли в прошлое, сникерсы не выдерживают конкуренции на рынке, вместо барби какие-то фарби-хуярби, всякие энгри бердс на планшете. Смартфоны... Предметный мир подменяет себя цифровым. Вместо бумажных книжек какая-то электронная херня. Все с монитора. Жизнь с монитора. Можно скачать приложе-

ние на смартфон чтобы ты когда нажимаешь на клавиши, набирая текст, он звучал, как работающая пишущая машинка. Разве не кабздец, товарищи? Не туда нас загрузили.

Что-то мы не докрутили... Что-то мы самое важное про себя не успели понять.

Федька пошел по кривой тропинке. Моя вина. Сонька витает в своих мечтах, говорят стала успешная писательница детской литературы. Эрнест... Арсен... на моей совести. Про Валерку ничего не скажу. Не могу осуждать. Ворсотеев заходил недавно проведать. Постоял-помолчал, лысину промокнул платком... Старенький совсем, с палочкой. Ничего не сказал. Вышел.

Даже он... Даже он...

Фигуры у нас в каждом госучреждении. По-прежнему. Разлапистые, пыльные и молчаливые. Что со мной сделается при такой расстановке? Неважно. Не пропаду.

Ребят жалко. Надеюсь, у них все будет хорошо. Надеюсь, у них все наладится. Мне-то самому что. Я-то справлюсь. Единственный в стране фикус в звании генерал-майора госбезопасности. Главное, чтобы секретарша не забывала поливать.

Софья Ролдугина

Никогда

Если на пяти языках повторить «никогда», то можно отменить что-то плохое.

Уна не помнит, кто и когда объяснил ей это; кажется, она просто родилась с предустановленным знанием, как некоторые появляются на свет с обострённым чувством справедливости или непереносимостью глютена. Только последствия в десять раз хуже, а видно их далеко не сразу.

...Уна хорошо помнит август девяносто шестого. Перекрученный каштан облюбовала стая голубей. Марево дрожит над серым щербатым асфальтом, небо точно побелкой натёрто; пятипалые листья скрючились и помертвело, бумажно шелестят. В доме через дорогу землистая старуха пожёвывает раскуренную кубинскую сигару, и дым повисает на акациях, стелется по земле.

Жарко.

Задохнувшийся в полиэтилене сэндвич не лезет в горло. Вдалеке нарастает рёв мотора. Уна садится на корточки, лениво крошит хлеб: курлы-курлы-курлы, и в ушах уже стучит, когда с нижней ветки наконец спархивает белая птица.

Прямо перед фургоном.

Голубь впечатывается в лобовое стекло с тем же звуком, что и футбольный мяч. Под натужный скрип автомобиль сворачивает на обочину; тормозной след растягивается на добрую сотню шагов. Водитель чертыхается, хлопает дверцей, перегибается через капот. Уна в это время пялится на голубя: он то пытается растопырить крылья, то странно выворачивает шею, словно купается в невидимой луже. Крови нет, но присутствие смерти ощущается настолько ясно, что в горле пересыхает.

Старуха отводит руку с сигарой и смотрит из полумрака террасы.

Ниже по улице водитель, вытирая взмокший лоб, возвращается за руль, и фургон трогается с места. Едет медленно, опасливо – даже вниз, с холма.

Вообще-то Уне голуби не нравятся. Но у этого кудрявый, ажурный хвост и стеклянные красные глаза – такого жалко. Она перетаскивает его на обочину, ныряет в дом, в сырую каменную прохладу, в отцовский кабинет. Словари тяжёлые, выворачиваются из пальцев; к счастью, ей нужно всего два. Строгая, гладкая латынь и шершавый греческий.

Голова немного кружится от предвкушения; менять мир – всё равно что держать в ладошке крошечного копошащегося птенца.

– Нэвер, нунквам, потэ, нимальс, най, – шепчет Уна, как заклинание, простирая руку над голубем с вывернутой шеей. – Нэвер, нунквам, потэ, нимальс, най.

Чуда не происходит.

Что-то не так.

Она мысленно перебирает лица одноклассников, голоса и слова – и цепляется за одного смуглого черноглазого мальчишку. Улыбчивый и угловатый, гневливый и быстрый – горе учителей, друг всех бездомных котов. Живой... живой.

– Нунка, – говорит Уна, пробуя слово на язык – и оно отзывается звоном. Старуха на террасе приподнимается настороженно. – Нэвер, нунквам, потэ, нунка, най!

Улица выворачивается лентой Мёбиуса – ни начала, ни конца, а когда останавливается, то сэндвич в пакете цел, а белый голубь сидит на ветке, заинтересованно косит алым глазом. Внизу, под холмом, визжат тормоза, и раздаётся упругий удар – громче, чем от мяча.

Старуха роняет сигару, продирается через акации и магнолии. Ковыляет через дорогу – смуглые ноги похожи на высохшие куриные кости – и отвешивает Уне звонкую оплеуху.

– Никогда не смей, – шипит. – Никогда.

Чувство смерти сильнее, чем в первый раз. Но виноватой Уна себя почему-то не ощущает.

Она помнит голубя.

Последствия видны далеко не сразу, но такие же одарённые выделяются в толпе издали – горят, как маяки, притягиваются друг к другу, как рифы и корабли.

Они *знают*.

Если на пяти языках повторить «никогда», то можно отменить что-то плохое; Уна с отличием оканчивает колледж и бросается в лингвистический запой, выхватывает отдельные слова, зазубривает фразы, точно запасается вариантами на долгую жизнь. Для каждого «плохого» – своё «никогда». Потом наступает короткий период охлаждения, а за ним новое увлечение – программирование. Там тоже языки, которые проще и сложнее одновременно. Раз уж не ты пишешь код, а ненужные куски нельзя удалить – можно их закомментировать или добавить условие: *if(какая-то проблема) go to*.

В консалтинговую компанию она устраивается легко, даже без опыта работы. Босс – высокий блондин с серым, нервным лицом – мало говорит и глушит кофе литрами, а выглядит так, словно постоянно испытывает боль.

– Ты часто?... – спрашивает он в первый день, и чашка дрожит у него в руке.

Босс не договаривает, но Уне и так всё ясно.

А ещё волосы у него не просто светлые, а седые, вдруг понимает она.

– Иногда.

Враньё, конечно. И недели не проходит, чтобы не подправить что-то по мелочи. Несовершенство раздражает, как пятна кофе на свежестиранной рубашке.

– П-поосторожнее, – советует он сухо и возвращается за свой стол.

Уне смешно.

– Нэвер, нунквам, нимальс, нунка, най! – громко выкрикивает она.

Коллеги удивлённо оборачиваются, а потом офис резко делает нырок – и возвращается уже обновлённым. Никакого разговора не было, ни для кого, кроме них двоих, потому что босс тоже помнит неслучившееся.

Рабочая почта подмигивает красным огоньком. В письме одна строчка:

«Я же просил».

Общая тайна приятно греет сердце; Уна не верит, что босс может всерьёз сердиться на неё, такую же, как он, пока не просыпается на следующий день в чужой стране, в крохотной комнатухе – без работы, без образования, под другим именем. Запоздало приходит осознание: «плохое» бывает разное тоже, для кого-то – пятно на ткани, а для кого-то – на репутации. Если Уна не терпела несовершенств, то почему должен он?...

В груди клокочет обида.

«Посмотрим, кто кого».

Условия изменились, но сам код никуда не делся – и способность вписывать в него новые команды тоже.

Так начинается гонка.

Мир оказывается неизмеримо сложнее, чем виделось прежде. На то, чтобы отыскать ошибку, уходит почти месяц непрерывного анализа и откатов; Уна словно идёт ощупью в темноте, ориентируясь только на собственную память о том, что, увы, не случилось – и на дорогие свидетельства новой жизни. В паспорте – коллекция виз и отметок о пересечении границ, в пластиковом пакете на дне чемодана – четыре удостоверения личности на разные имена и россыпь просроченных кредиток, запястья в шрамах, сгибы локтей – в синяках.

Последнее отменить легче всего, этот баг реальности – совсем свежий.

«*Нэвер, нунквам, нимальс, нунка*, – пишет Уна размашисто на стене, чувствуя сухость во рту. И, помедлив, заканчивает: – *if (flag-зависимость) {flag=«»; break;}*».

Иногда «прервать цикл» – это то же самое, что «никогда».

Поиски поворотного момента похожи на детективное расследование. Достать денег – не проблема: всего-то надо купить лотерейный билет и отменить проигрыш, ведь с точки зрения судьбы тут бинарная система: либо ноль, либо единица. Шестнадцать перелётов, три континента, два десятка городов... Воспоминания о новой-чужой-своей жизни – стеснительные призраки: они ускользают, стоит взглянуть пристальнее, и вот уже Уне кажется, что её не существовало вовсе. Но для остальных людей эта реальность единственная.

Мальчишку из средней школы, который подарил ей испанское «никогда», зовут Хавьер. Здесь их связывает давняя дружба, крепкая, какая возникает только у оглушительно одиноких изгоев, внезапно обнаруживающих, что не все сверстники равно глупы и жестоки. Это он подучил её уехать в Уругвай – и он же пролил свет на дурацкую случайность, из-за которой всё пошло наперекосяк.

– Эх, амига, – вздыхает Хавьер, потерянный и пьяный. Он вырос вполне симпатичным; был бы ослепительным – но, вот беда, разучился гневаться и улыбаться, да и жизни в нём критически поубавилось. – Не складывается, хм? От меня вот Нана ушла, мальчишек кинула. И, вот видит Святая Дева, помню про твоего папашку и как ты у нас ныкалась, а каждый день рука к бутылке тянется. Вот каждый день, веришь?

Уна возвращает ему подружку одной бессмысленной фразой на выдохе – и остаётся одна. Хавьер не пришёл в бар, ведь дома дел неспорный, веришь, амига? Но ей и не нужно уже: память кропотливо хранит несказанное. Стоит потянуть за ниточку – и распускается кружево, прямо до ослабленной петли, до червоточины. В этой реальности сильный и успешный отец Уны проиграл муниципальные выборы из-за какого-то дурацкого, не вовремя заданного вопроса на пресс-конференции. Одно потянуло за собой другое: стресс, задавленная агрессия, скандалы и алкоголь.

Однако трудное детство оставило ей не только шрамы на запястьях, но и дьявольскую изворотливость, какой не было у прежней Уны. И пятнадцать иностранных языков – прожитых, прочувствованных, навеки вшитых в подкорку.

Грех этим не воспользоваться.

– Ну надо же, – бормочет Уна и водит пальцем по чёрно-белой фотографии в газете пятнадцатилетней давности. Отец глядит в объективы камер потерянно, а журналистка радостно улыбается – исторический момент крушения идеалов. – Похоже, я недооценивала политику. А ведь это такой же код.

Кажется, теперь она знает, как отомстит несостоявшемуся боссу.

В некоторых наречиях «никогда» – это «ни единого раза», в других – «ни в какое время». Смысловые нюансы, которые прежде казались забавными, ныне решают всё. Уна чувствует себя так, словно раньше брела вслепую, а теперь прозрела. Она рисует схемы, выстраивает параллели и впервые совершенно ясно осознаёт, почему в конкретной ситуации действительно определённое слово или знак.

Неважных знаний нет – и это тоже открытие.

Съёмная квартира завалена распечатками и изрисованными скетчбуками. Вся биография босса как на ладони, выявлены и обнажены связи с тысячей событий, которые в то время происходили вокруг, и каждое вносило свою лепту. Политологии и социологии становится мало, и тут на помощь приходит математика, универсальный язык – и, как ни странно, поэзия, поднимающая его на метафорическую недостижимую высоту.

Мир наконец предстаёт системой – сложной, бесконечно сложной, но открытой для познания.

На губах Уны – вкус запретного плода.

– Вот как, – шепчет она, отыскав наконец единственно верную отправную точку. – Ну, держись. Невер, нунка...

Череда почти неощутимых изменений выводит её через неделю к тому самому офису, под распахнутые пластиковые окна – жарко, душно. Уна набирает номер, взятый с блестящего рекламного проспекта, и, не представляясь, просит выглянуть.

У её неслучившегося босса по-прежнему седые волосы и красивое, но болезненное лицо; взгляд – нечто среднее между «давай, удиви меня» и «пожалуйста, обойдёмся без сюрпризов».

– Твой отец голосовал за консерваторов! – звонко выкрикивает Уна и широко улыбается, а затем размашисто рисует граффити через стену, через дверь.

Баллончик шипит и плюётся алой краской – два слова, команда, математическая формула и строка из поэмы о судьбе и крахе. Реальность дрожит, опрокидывается в саму себя, и вот уже Уна с любопытством смотрит вниз из окна директорского кабинета, а бывший босс топчется у крыльца. Стрижка дурацкая, костюм дешёвый, под мышкой – резюме в тонкой пластиковой папке.

Разозлённым парень, впрочем, не выглядит. Скорее... помолодевшим?

– Один-один, – негромко говорит он, и сердце почему-то подскакивает к горлу.

Полгода они осторожно обмениваются ударами, словно прощупывают друг друга. Меняют профессии, города и жизни; Уна почти всерьёз обижается, когда обнаруживает себя с розовым ирокезом на сцене и по-настоящему – когда никак не может понять, как босс это провернул. Отыскивает его хватает за воротник – опять кофейные пятна, опять, ну как же можно быть таким неряхой – и рявкает:

– Где?!

Босс – в кои-то веки не скучный клерк, а прожжённый журналюга – потерянно моргает, затем соображает:

– А, баг? В системе образования. Видишь ли, теперь в твоей школе преподавали рок-музыку.

«Да что за бред!»

Она закипает:

– И почему я к чертям собачьим её тогда не возненавидела? – с языка рвутся слова поглубее – новая-чужая-своя судьба научила. Пока Уна ещё сдерживается.

Босс аккуратно отцепляет её пальцы от своего воротника.

– Психология. Учитель по вокалу говорил, что тебе надо петь нежнее... А у твоего друга Хавьера были кассеты с Патти Смит.

Уна отпускает его.

Сначала она не верит, что из-за такой ерунды жизнь может покатиться по совсем другим рельсам, но вскоре убеждается сама. Это взрослые косные, а дети пластичны, и любое прикосновение оставляет на них след, да и к тому же они более уязвимы перед средой. Схема мира снова усложняется – и в то же время становится более понятной.

Следующим ходом Уна отправляет босса в космос – просто так, чтобы не зазнавался.

А потом, на каком-то там по счёту витке, она вдруг обнаруживает, что Хавьер мёртв.

Вряд ли недобосс сделал это специально. Нельзя ведь учесть всё, обязательно будут случайные жертвы, но даже развод родителей и отцовский запой, спрятанный глубоко в фантомных воспоминаниях, не ранит сильнее, чем скупые цифры в некрологе. Смуглый, весёлый и злой мальчишка не дожил и до пятнадцати, схлопотал битой по затылку во время беспорядков и умер нелепым голенастым кузнечиком. А мог бы вырасти, стать не просто красивым – ослепительным, и, Святая Дева, как же хорошо он смотрелся со своей Наной, которую находил каждый раз, как чуял – на любой ветке реальности.

– Ты сволочь, – отчеканивает Уна в трубку, и горло перехватывает. – Его-то за что?
Босс виновато сопит, потом говорит:

– Я всё вер. – но Уна уже нажимает на отбой.

Следующим же вечером она роняет в Тихий океан самолёт. Из пассажиров не выживает никто, но в траурных списках её интересует только пожилая пара, которая направлялась на тропические острова справить юбилей свадьбы. Через три часа Уна вносит ещё одно дополнение в код – это легко сделать, если подготовиться заранее и нащупать слабые места – и тайфун «Хавьер» так и не зарождается над океаном.

Катастрофа отменяется.

Но боссу-то всё равно больно, ведь он помнит даже неслучившееся – так же ясно, как реальное. Так что теперь у каждого из них по некрологу за душой, счёт снова один-один, только это какие-то мерзкие единицы.

Неправильные.

Уна пытается сбежать от него, затеряться, и сама не замечает, как устраивает глобальный экономический кризис, куда там Великой Депрессии. Всюду нищета, безработица, толпы беженцев; комфортные путешествия – удел избранных счастливиц, баловней судьбы, потому что билеты дороги, а визы дают крайне неохотно. Лотереи вырождаются, остаются подпольные казино и бары, а самое отвратительное – здесь нет кофе.

Два отката ничего не изменили. Кризис поослаб, но на меню это повлияло мало.

Третий месяц Уна просиживает в чайной, глушит чашка за чашкой крепкую бурду, воняющую сырым веником, и пытается понять, почему. Экономика и политика бессильны, математическим формулам не хватает данных, а одной поэзии, похоже, слишком мало.

«Я сдохну от недосыпа, – крутится в голове. – Или вениками потравлюсь».

– Экологию не пробовала? – дружелюбно спрашивает босс, подсаживаясь за столик.

Надо же, отыскал – без социальных сетей и банковских карт, во всеобщей разрухе.

Даже лестно.

– В смысле?

Уточняющие вопросы, конечно, заставляют гордость корчиться в муках, но докопаться до истины и до кофе куда важнее. По крайней мере, так Уна говорит себе. А босс разворачивает карту – дурацкую, бумажную и вдобавок, похоже, с другой ветки реальности.

«По памяти он её, что ли, рисовал?»

– Вот, смотри. Крупнейшие экспортёры кофе у нас тут – Бразилия и Колумбия, их сразу вычёркиваем, там народные волнения, лесные пожары, на два чиха это не разгрести. Далее – Вьетнам и Индонезия, но там в основном робуста, да и плантации сильно пострадали после цунами и землетрясений. А что насчёт Африки? Эфиопия, Кения, Йемен. Всегда мечтал завалить мир йеменским кофе.

И тут Уну осеняет. Она ничего не может с собой поделаться – смотрит на него, как на героя, и улыбается.

– Ты гений. А я дура, если забыла о естественных факторах. Ведь у кризиса могут быть не только внутренние, но и внешние причины, не человечеством спровоцированные! Сначала у нас природные катастрофы и климатические изменения – а потом неурожай, скачки цен, кое-где даже голод.

Она говорит и говорит, тут же, на словах, выстраивая формулу. В схему мира новые «пять слов» вписываются идеально, так и просятся на язык, на кончик карандаша – опробовать, испытать. А босс смотрит, не отрываясь, а потом внезапно целует её болтливый рот. Отстраняется – и ни слова не говорит, а губы у него в чём-то красном.

«Моя помада», – осознаёт Уна и страшно пугается.

– Нэвер, нунквам, потэ, нимальс, най, – лепечет она.

Будто это что-то меняет.

Кафе выворачивается наизнанку: баг устранён, неугодная переменная равна нулю. Но босс всё так же безмолвен, дурно одет, и лицо у него горестное. Помады ни следа. Но что толку? Они оба помнят.

Заклинание дало сбой.

...Если на пяти разных языках повторить «никогда», то что-то плохое исчезнет. А что делать, если надо не вырезать фрагмент реальности, а повернуть неуправляемый поток в прежнее русло?

Уна не знает.

Кризис удалось вымарать, но половина Африки теперь охвачена войной. Память сбоит: было ли это в изначальной версии мира, или бездумные изменения так повлияли на историю? И, казалось бы, какое дело состоятельному фрилансеру из маленького, но очень богатого европейского княжества до проблем на другом континенте, но почему-то перед глазами снова и снова встают строчки из некролога: *Хавьер Эрмано, 1986–2000, примерный сын и любимый брат...* Нет, он-то, конечно, жив, Уна проверяла, но сердце всё равно болит, и чувство вины не отпускает.

Политика, экономика, история, география, экология – сколько ещё нужно ввести переменных, чтобы люди перестали убивать друг друга?

Сколько ещё языков и систем выучить, чтобы раз и навсегда взломать код?

– Тебе следует отдохнуть, – мягко говорит босс.

Уна подробно объясняет ему, куда он должен засунуть свои недоглаженные рубашки и сочувственные комментарии. И добрые советы тоже, можно даже не распаковывая.

Он пропадает на две недели. А потом, в одно прекрасное солнечное утро, прямо под ногами Уны автобусная остановка превращается в открытую платформу на шестидесятиметровой высоте, а за спиной отрастают крылья – большие, белые, сильные. И что с ними делать – решительно неясно.

– Видела бы ты своё лицо, – весело замечает босс.

Его футболка и джинсы такие драные, словно все городские коты объявили ему вендетту, а крылья чёрные и резиново блестящие, точно искупались в смоле. С платформы на платформу он перепархивает уверенно, будто родился пернатым, впрочем, так оно и есть.

Уна садится на край и свешивает ноги; внизу, под босыми ступнями – цветущие крыши, зелёные стены и сады, сады, сады. Странно, чуждо и безумно красиво. Она вслушивается в ветер, ловит запахи, звуки и выбирает между восторженным «Как?!» и раздражённым «Зачем?».

– Биология, эволюция, история, математика и, как ни странно, поэзия, – объясняет босс, глядя исподлобья. Солнце у него за спиной, и поэтому лицо выглядит тёмным, выражение нечитаемое. – Вуаля – мы биотехнологическая цивилизация. Войн почти нет, голода тоже. Единственный минус – нас меньше раз в десять.

Это как удар под дых.

Уна могла бы спросить: а как же Хавьер? Но дело не в нём, точнее, не только в нём. Ей дурно от мысли, что несколько миллиардов человек не получили даже шанса родиться; короткая, полная трудностей жизнь и смерть от выстрела в затылок или от лихорадки где-то под южным солнцем уже не кажется худшей из судеб.

– Верни всё на место, – просит Уна хрипло.

Босс молча бросается с платформы, лишь в последнее мгновение раскрывая крылья.

Искать отправную точку приходится самой.

Слишком поздно накатывает понимание, что они не устраняли ошибки в исходном коде, а приносили их. Теперь система замусорена донельзя: старые законы не работают, а чтобы

вывести новые, не хватает ни знаний, ни сил. Без смелости, порой безрассудной, не выйти за границы уже изведанного, не продвинуться вперёд; познание невозможно без нарушения норм и догм.

Однако беспечность и безответственность неизбежно ведут к краху.

Уна узнаёт о человечестве немало нового. Что даже крылатые, свободные, сытые могут развязывать опустошительные войны; что нет такой благой идеи, которую нельзя исказить и обернуть во вред; что даже посреди разверзшегося на земле ада явятся свои святые; что можно войти в одну и ту же реку дважды, но без всякой гарантии, что это будешь именно ты.

Мир – словно код, который постоянно развивается и сам плодит баги, словно язык, не знающий понятия «никогда».

«А если я – ошибка?»

Мысль появляется всё чаще и тревожит всё меньше.

Босса Уна теперь ненавидит – яростно и жгуче, как никогда раньше. За то, что он втянул её в противостояние, приучил к большим ставкам; за то, что он всегда рядом, готов протянуть руку помощи, придержать за локоть, ухватить за шкурку и не пустить – но предотвратить самое кошмарное даже ему не по силам.

В какой-то момент Уна обнаруживает, что порох не взрывается, и радостно вскидывается: вот он, сбой. Нужно только немного откатиться назад, вломиться в физику, закомментить часть кода, и...

Здесь почти нечем дышать, и на языке сухая горечь.

По правую руку – бесконечная равнина: серое, чёрное, серое, чёрное. По левую – белые-белые волны. Небо низкое и холодное, сыплет мелким снегом. В глубине безжизненной земли прорастают взрывы – дым, кольцами нанизанный на огненные столпы; на ядерные купола нисколько не похоже, но Уна подспудно знает, что это даже хуже – своя-чужая-новая память подсказала.

Босс бредёт вдоль кромки седого моря; рубашка хлопает на ветру, светлые штаны закатаны до колен.

– У нас минут пять, я думаю! – издали кричит он. И тут же, не меняясь в голосе: – Извини!

Уна хочет крикнуть: «За что?» – но горло перехватывает. А босс останавливается шагах в десяти от неё, словно между ними невидимая стена.



— Я вмешался в твой код, — говорит он. — И, кажется, налажал...
И ещё:
— Я не должен был отправлять тебя в Уругвай.

Это он, видимо, так шутит.

Язык присох к нёбу, а взгляд – к узкой полосе прибоя. Уна думает, что всё не зря, и она не жалеет ни о чём: *спасибо за пятнадцать языков, за розовый ирокез, за кофе, за белые крылья...* «Уна» – значит «рождённая для счастья».

Она и правда была счастлива.

«Если кто-то всё ещё пишет код, – крутится в голове, – если кто-то пишет мир, то пускай всё это случилось. Не отнимай ничего, пожалуйста-пожалуйста- пожалуйста...»

Босс подносит к виску сжатый кулак с отставленным указательным пальцем, точно целится в себя.

– Никогда, – произносит отрывисто, словно стреляет. – Никогда, ни...

Уна зажимает уши и кричит изо всех сил.

Как будто это когда-то помогалю.

...В августе девяносто шестого жара пробирает до костей. Перекрученный каштан облюбовала стая голубей. Марево дрожит над серым шербатым асфальтом, небо словно побелкой натёрто, пятипалые листья скрючились, обожжённые солнцем. Полный штиль – ни шелеста, ни шороха. На террасе в доме через дорогу старуха раскуривает в полумраке разломанную кубинскую сигару, и дым повисает над землёй. Белого кудрявого голубя, который топчется на деревянных перилах, это, впрочем, несколько не беспокоит.

Ноги подламываются; Уна роняет сэндвич, завёрнутый в липкий полиэтилен, и бессильно опускается на обочину, в пыль. Рядом тормозит синий фургон. По щекам градом катятся слёзы.

– Эй, малявка, помощь нужна? – Водитель, усатый смуглый здоровяк, кажется, искренне встревожен. Уна мотает головой. – Ну, как знаешь.

Он дожидается, пока Уна встанет и оботрёт лицо, и лишь потом трогается. Едет медленно, опасливо – даже вниз, под горку. Уна спускается за ним. Выпуклое круглое зеркало – *осторожней на поворотах, эй!* – отражает нескладную девочку с седыми волосами.

У неё взрослое нервное лицо, словно она постоянно испытывает боль.

Босса Уна обнаруживает у подножья холма, там, где дорога резко виляет вправо. Он выглядит младше, лет пятнадцать-шестнадцать с виду, но в остальном несколько не изменился, даже белая рубашка так же запятнана кофе. Сидит у дороги, подтянув колени к подбородку, смотрит вдаль.

«Только бы он помнил, – загадывает Уна про себя. – Только бы помнил».

Старенький велосипед аккуратно прислонён к знаку пешеходного перехода, почти невидимого за разросшимися кустами.

– Однажды меня сбил здесь фургон, – внезапно говорит босс. – Я месяц провёл в госпитале, еле выкарабкался, думал о разном: мол, если бы. Но речь не о том. Ты ведь не оставишь меня?

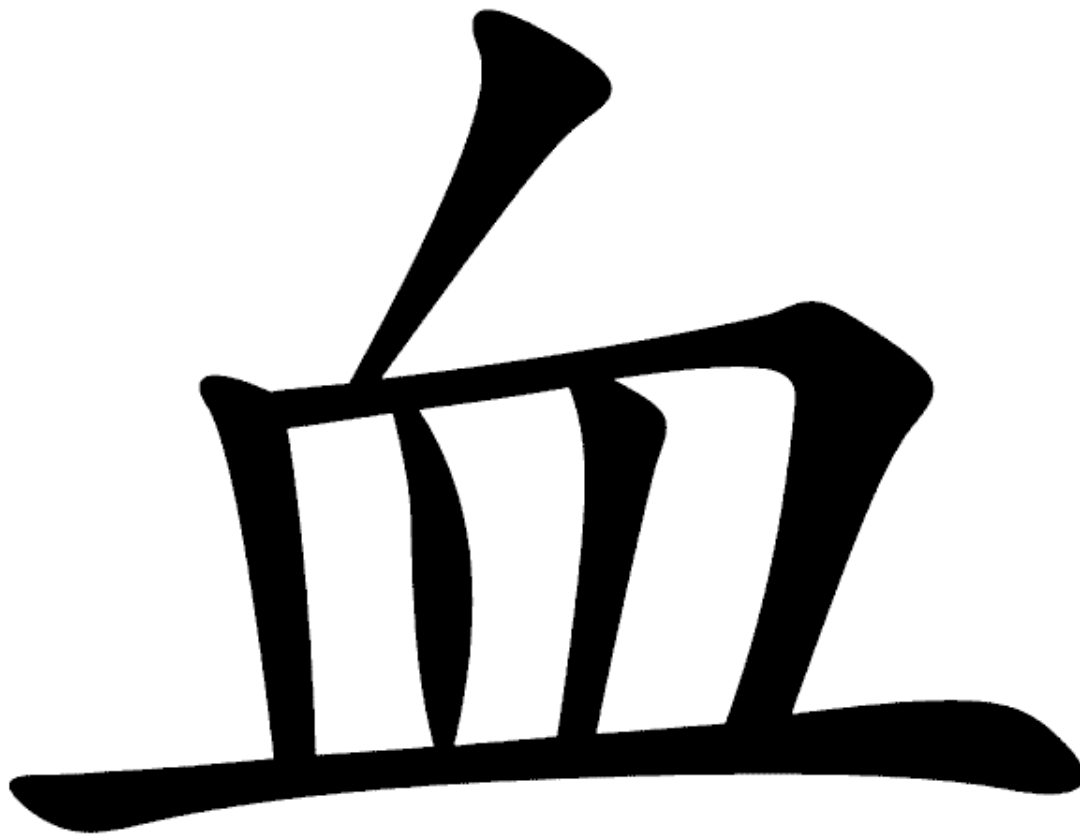
Он смотрит так, что становится ясно: нет, ничего не забыл. Ни сбывшееся, ни несбывшееся. Уна садится рядом, приваливается к нему боком, несмотря на невыносимую жару, и шепчет:

– Никогда-никогда. Никогда, никогда, никогда.

6. Кровь

Некровавых сказок не бывает. Всякая сказка исходит из глубин крови и страха.

Ф. Кафка



Сергей Игнатъев

Корни

(Эра Садовода)

1. Посев

(Общество примечательных господ)

Собирались каждый третий месяц, в пятницу, в библиотечном зале, в загородном особняке у Поэта. Трехэтажное строение затерялось за городской чертой, среди пригородных оврагов и выпасов, среди запущенного парка с увитыми плющом мраморными наядами. Принадлежало оно баронессе Ф., почтенной вдове, ныне доживавшей свой век в Ницце.

На этот раз собрались облегченным составом. Вихри перемен, разбуженные эхом выстрелов в Сараево, а последовавшей взаимной канонадой Больших Игроков доведенные до совершенного исступления, привольно разгуливали по Европе. Выбраться на традиционный съезд удалось немногим.

Но если бы и оказался умозрительный свидетель, заглянувший в высокое окно, в просвете бархатных портьер увидевший собравшихся. Одного вида даже этих немногих, здесь и сейчас, в окружении книжных стеллажей, вокруг широкого стола, хватило бы этому свидетелю, чтобы усомниться в своем здравом рассудке. А после бежать прочь через запущенный парк, на ходу истово крестясь, дурачки подхихикивая и плюя через левое плечо.

Тот, кто звался Поэтом, был одет нарочито казуально. На нем был расшитый тиграми халат, на кудрях сеточка, открывающая аккуратные баки. В одной руке он держал бокал коньяку, в другой – резной мундштук кальяна. Лицо Поэта являло тип той пластичности, что позволяет органично вписаться и в увенчанную цилиндрами публику близ Вестминстера, и в круг заросших бродяг Южной Дакоты (а если солнечные лучи придадут коже кофейного тона – то чувствовать себя «своим» и среди африканского вельда, и в сутолоке тайских притонов, и под сумрачными покрывами амазонской сельвы).

– Господа, – Поэт выпустил из полных губ струйку дыма. – Будучи принимающей стороной, возьму на себя смелость начать.

– Извольте, месье Памятник, – ернически ответствовали от горящего камина.

Там стоял, задрапировавшись в темный плащ, красивый и нездорово бледный молодой человек. В расширенных зрачках его отражались отблески каминного пламени.

– У вас есть возражения, господин Драже?

Драже поднял узкую ладонь и сделал такой жест, будто закрывает тонкие губы на невидимый ключ, а затем выбрасывает его за плечо.

Поиграв густой бровью, Поэт продолжил:

– Сказать по чести, меня всегда забавляет этот момент, с множественностью псевдонимов. Вся эта чехарда с воплощениями! В этом есть нечто том-сойеровское, извините за привычные литературные параллели. Что, вы не читали? Очень зря, господин Снегирь, рекомендую. У каждого из нас имен наберется поболее сотни. Для ясности будемте использовать те, что постановили на прошлом совещании. Возражений нет?

Присутствующие ответили сдержанными кивками.

– Итак, господа, к делу. Всем уже окончательно ясно, что страна по кратчайшему пути движется к бездне. Надеюсь, с этим утверждением никто не берется спорить?

– Ха! Бывалочи и похуже видали!

Реплику подал русоволосый парень, в лазоревой рубашке с вышивкой, в лаковых сапогах гармошкой. Он стоял возле книжного стеллажа, рассеяно пролистывая иллюстрированный «*Simplicius Simplicissimus*»:

– Мне-то приходилось видеть.

– Господин Обоз, я вовсе не ставлю под сомнение ваш опыт. И кстати, прошу извинить за нескромный вопрос – отчего такой эпатазирующий наряд?

– Новый образ, – скупое пояснил Обоз, отставляя книгу на полку. – Впрочем, дабы не вступать в традиционные прения, я с вами склонен согласиться. Дела наши и впрямь амба!

– Новый образ, – ухмыльнулся Драже, ворочая кочергой в камине. – Все новое для него – это порядком забытое старое.

– Будет революция, – весело бросили из поскрипывающего кресла-качалки.

В голосе этом смешался барабанный треск и прерывистые трели маршевой флейты.

– Господин Снегирь?

Жилистый г-н Снегирь, с хищно очерченным сухим лицом, забавлялся с креслом, с силой раскачиваясь, задирая колени, рассыпая искры с тлеющей сигары:

– Согласны со мной, госпожа Матушка?

На него насмешливо поглядела привлекательная русоволосая дама с высокой прической, в модном парижском платье, открывавшем плечи в россыпях веснушек. Она томно улыбнулась, звякнув серьгами, повернулась к сидящему рядом господину:

– Это вам надо господина Калугу спросить. От него ничто не скроется. Верно, душа моя? Все посмотрели на ее соседа. Г-н Калуга, растрепанный, в круглых очках-велосипеде, задумчиво бросал между коленей некий округлый предмет, всякий раз с жужжанием возвращавшийся в его пальцы по тоненькой леске. Он будто и не слушал товарищей.

На миг прекратив свое занятие, обвел присутствующих скучающим взглядом:

– Что-с? Я, знаете ли, неважно слышу.

Тут все, включая самого Калугу, даже вампирически-бледный Драже, даже хмурый Обоз, рассмеялись. Очевидно, это была одна из старинных шуток, имеющих хождение только в очень узком кругу.

– А что, господа, говорит на сей счет Зеркало? – посерьезнев, спросил Калуга. – Кстати, где он сам?

– Отбыл в войска, стариной тряхнуть решил, – криво ухмыльнулся Снегирь. – В кой-век опередил меня.

– Не перестаю удивляться, – вздохнула Матушка. – Нашли из чего соревнование устроить. Вы, господа, порой ведете себя, как мальчишки!

– Итак, революция неизбежна, – продолжал Поэт. – Ситуация как никогда требует нашего вмешательства.

– Что вы собираетесь делать? – Снегирь затянулся сигарой. – И что решили с тем пройдохой, как его бишь, такой, с лысиной? Уланов?

– Ульянов, – прошипел Драже. – Вопрос решается.

Из глубин особняка послышались звон колокольчика, лязг засова, скрип паркета и негромкие голоса. Затем в высокие двери трижды постучали.

– Да-да! – громко провозгласил Поэт. – Входите, господа, ждем вас!

В библиотеку вошли трое.

Первый был в длинном пальто-«дастере» и котелке, светло-серых, цвета золы в русской печке. Бряцаая шпорами, шелестя полами, он вышел вперед, прищурил холодные голубые глаза. Приложив к губам серебристую гармошку, извлек из нее короткие такты (вой ветра, гудок паровоза в калифорнийской прерии, перестук бизоньих копыт).

Второй тоже побрякивал шпорами. Как и у первого, у него были аккуратные усы и острая бородка. Шляпа и дастер – черней печной сажи, а глаза скрывали темные стекла очков. Он поставил на паркет грузно хрустнувший, звякнувший докторский саквояж.

– Господин Рыбак! – прищурился Поэт. – Господин Шутник!

– Люблю этих парней, – промурлыкал Драже. – В них есть стиль.

Рыбак (зола) и Шутник (сажа) в знак приветствия приложили затянутые перчаточной кожей (серой и черной соответственно) пальцы к полям шляп.

Третий из вошедших еще не имел чести быть представленным Собранию. Это был очень загорелый человек средних лет, в темном костюме и узком галстуке. В петлицу пиджака у него была вставлена пурпурного оттенка лилия. Незнакомец с достоинством наклонил голову, обозначая поклон.

– Господа, – Рыбак повернулся к незнакомцу. – Перед вами тот, кого мы так долго искали.

– Тот, господа, – добавил Шутник. – У кого есть Решение. Прошу любить и жаловать.

Незнакомец вежливо улыбнулся. Некоторые из присутствующих с удивлением заметили, что лилия в его петлице в этот момент окрасилась из пурпура в ультрамарин. Он выступил вперед.

– Рад знакомству, господа, – сказал он твердым, с хрипотцой голосом. – Мое имя Иван Мичурин.

Лилия в его петлице вдруг смущенно сжалась в бутон. А вновь раскрыв лепестки, из ультрамариновой превратилась в яично-желтую, солнечную.

2. Прививка сеянца («Дриады» прорывают фронт)

Едва в щелях настила забрезжил рассвет, поручик Ромашов поднялся с неудобного ложа (шинель, расстеленная поверх пустых снаряжных ящиков). Стал, ежась от утренней прохладцы, натягивать сапоги. Всю ночь накануне он не смыкал глаз – по крыше блиндажа барабанил проливной, тропически сильный дождь с градом, перекрывавший даже пулеметную дробь и артиллерийскую канонаду. До рассвета эскадра «скатов» гнала с Вислы дождевые тучи, на случай, если германцы попытаются затемно прорвать линию отчаянным рывком, применив фосген.

Ромашов взял со стола португую, скользнул взглядом по припорошенной осыпавшейся с потолка землей обложке «Нивы» (двухнедельной давности, все недосуг было раскрыть):

...первая вступительная речь Мич...

...указом назначенный на пост премьер...

...начал со слов: У меня есть мечта...

Пристегнув шашку и кобуру, Ромашов поправил зацепившийся за португейные ремни шнурок с сигнальным свистком, надел фуражку. Придерживая ножны, выбрался по скользким ступеням наружу.

По стенке траншеи выстраивалась, торопливо вполголоса читая молитву, охая и кряхтя спросонья, простуженно шмыгая и смачно харкая, хрипло ругаясь, кляня погоду, злой век и немца, длинная шеренга людей. Порывивали, прохаживаясь вдоль строя, унтера. Скрипели свинчиваемые с фляжек крышки, бряцала натягиваемая через голову сбруя амуниции. Неверный алый свет восхода окрасил алым стальные шлемы и нацелившийся в небо кривой частокол штыков.

Поручик пошел мимо роты, рывком прикладывая руку к козырьку в ответ на приветствия, щурясь на пунцовое зарево рассвета. Под ногами чавкала и хлопала густо-охристая грязь, облепляла голенища, утяжеляя шаг. Ветер охлаждал щеки, забирался под башлык и мурашками разбежался по спине. Гнал клочья туч обратно к Висле, хлопал выцветшим триколором над бруствером. Высоко в небе, расправив паруса крыльев, чертя по воздуху завитком тонкого хвоста, пуская с рогов короткие электрические разряды, за линию фронта возвращался одинокий «скат».

Рассвет не успел толком забрезжить, а горизонт укутался, как плащом от утреннего озноба, мутным туманом, надежно скрыв алую теплынь. Фронт погрузился в сумерки.

На пересечении земляных ходов стояла группа офицеров с раскрытыми планшетами. Среди серых пехотных шинелей выделялся белым шарфом и комбинезоном из потертой рыжей кожи прапорщик Фомич из приданного батальону разведывательного инс-скадрона. Он был без шлема, темные волосы взъерошены, говорил торопливо, тыкал пальцем в карту, отмечая огневые точки. Едва капитан закончил краткий брифинг (предстоящее дело в подробностях успели обсудить накануне), Фомич протиснулся к Ромашову, сияя по-штатски беззаботной румянностью и озорно блестя левым глазом (правый скрывала пиратская повязка из черного шелка).

– Сашка, чегт! – сильно грассируя, воскликнул он. – Полжизни за папигосу!

– Никак, Олег, свои лафермовские потерял? – Ромашов извлек из кармана шинели серебряный портсигар.

Со вкусом задымили. Фомич стал азартно пересказывать ход проведенной затемно рекогносцировки (у него выходило «геконносцировка»). Под прикрытием ливня, подгоняемого благословенными «скатами», дошли до самых проволочных заграждений, но немец ответил кучным пулеметным огнем, пришлось повернуть. Потерь, слава Богу, никаких. Вот только шлем потерял, седельную сумку осколками покрошило, а с ней фляжку шнапса (чегт с ней!

Еще натгофейничаем!), и последнюю пару пачек лафермовского «Медка» (попобуй тепегь достать!)

– А Зойка моя! – пыхтя папирсой, Фомич махнул за бруствер, в сторону обугленных руин, где размещались батарея, временный лазарет и полевая кухня. – Дуга пгокгятая! Как фгиц жажнул – сгазу упеглась всеми шестью и ни в какую впегед, можешь себе пгедставить?! Не была б такая тгусливая твагь – давно бы до самого Бисмагка добгался!

Ромашов усмехнулся, вглядываясь в почерневшие развалины. Привязанная к покосившемуся телеграфному столбу «Зойка» Фомича, паслась, привычно мимикрируя под окружающий ландшафт, порой демаскируясь радужным разводом перепончатого крыла.

– Всякий раз поражаюсь, как находить ее умудряешься! До чего неприметная креатура!

– Дело пгивычки.

Фомич равнодушно махнул рукой, не желая даже смотреть в сторону трусливой креатуры, своим паникерством помешавшей ему пробиться с его инссквадроном сквозь линию фронта и далее – до Берлина – чтобы лично взять в плен Бисмарка. Легендарного Стального Старца, Безумного Стратега, чье износившееся столетнее тело, если верить «Ниве», было слито с дизельмехом на одной из циклопических «фабрик смерти» Байериш Моторен Верке.

– Ну, пора, – жадно затянувшись напоследок, Ромашов похлопал товарища по плечу.

– С Богом, Саша!

Втоптали папиросы в хлюпающую желтую грязь. Обнявшись, разошлись – Ромашов к своей роте, Фомич – в расположение разведчиков за вторым эшелон.

* * *

Ромашов ловит взгляды солдат – усталые бывалых фронтовиков и унтеров, тревожные молодого пополнения. Нет в этих лицах казенного патриотизма плакатов, где герой Козьма Крючков пашкой побивает германскую «поркупину», из люков которой тараканами расползаются злобные усаые человечки (в самом жирном и самом усаом легко узнать кайзера Вильгельма). Нет в этих лицах жертвенной отрешенности иконных ликов. Есть только бесконечная усталость, тревога за будущую атаку. Да еще (и такие взгляды Ромашову ближе всего, таков и его взгляд) лихорадочный блеск подступающего азарта схватки.

А горизонт с тылов затянут густой мглой. Зеленоватой, мутной, полной низкого комариного жужжания, треска и тошнотворного причавкивания, причмокивания.

Наступают «Дриады». Вот уже можно различить головной дендроход – тяжело, с хрупающим треском, переваливает по бревенчатым настилам через траншеи. Прет вперед, в облаках зеленых испарений. Ходовая часть плюшит землю громадным лоснящимся слизнем. На ней сидит, цепляясь за проволочные ванты, расхристаный дендротех, «садовод», в пропитанном зеленым соком комбинезоне, в мятом кепи набекрень. Он весел и пьян тем духом, что испускает его питомец, машет грязной рукавицей примолкшей в траншеях пехоте. Орет, перекрывая хлюпанье, треск и комариный зуд:

– Чего пригорюнилась, царица полей?! Следовай за мной кайзера жарить, ети душу мать через перее.

Окончание фразы уплывает в зеленом тумане, заглушается треском и хлюпаньем.

– Га-а-а! – разносится по траншее.

Ромашов и сам невольно улыбается. Тотчас хмурится, продолжает нервно теревить свисток на шнурке.

«Дриады» идут одна за другой, распространяя окрест испарения, сладкий запах древесного сока. Покачивают резными листьями венчающие их плюмажи «боевых крон». С прищелкиванием, с посвистом вьют кольца хватательные щупы, покачиваются, скрипя, толстые стебли,

беззвучно распахивают пасти ловушки- «мухоловки», обрамленные мириадами шипов, отороченные пестрыми усиками.

Подступают в сумраке к проволочным заграждениям, со скрежетом, лязгом рвут их, цепляют шупами, тянут, жгут вязкой шипящей кислотой...

Немцы из своих траншей отвечают им – частым треском маузерок, раскатистым тараканием максимов, визгом гатлинговских многостволок. Ухают на той стороне тяжелые орудия. Распускаются черно-алые цветы взрывов, свистят осколки, секут «ничейную землю», изрытую воронками, усеянную сгнившими телами, оплетенную рядами колючей проволоки – бесконечное, от горизонта до горизонта – болото липкой бурой грязи, прорезанное линиями траншей.

Оскальзываясь, капитан первым вылезает на бруствер, с хищным лязгом выводит из ножен шашку.

Ромашов, краем глаза видя, как крестится, сжимая в левой трехлинейку, бородатый унтер с озверелым испытанным лицом, закладывает сигнальный свисток в рот, поудобнее перехватывает рукоять нагана.

Капитан, целя острием клинка на грохочущий разрывами ад впереди (сквозь какофонию звуков привычное ухо выделяет характерное жужжание и рокот выступающих к контратаке немецких дизельмехов):

– За-а-а веру! За царя-я-я! За отечество!

Жадным-жадным, долгим-долгим вдохом набрав в легкие воздуха.

– Ура-а-а!

...Ромашов всем дыханием, от грудины, дует в свисток. Пронзительная трель забивает уши, он карабкается по брустверу, оскальзываясь сапогами, продолжает свистеть, бежит навстречу разрывам, сжимая наган, и свистит, но свист перекрывает громовое, как неудержимый штормовой шквал:

– РАААААА!!!

Его обгоняют серые шинели, штыками вперед, скользя и спотыкаясь в буром месиве, утопая по голенища, вперед! Через выбоины и воронки, заполненные водой, через истлевшие тела своих и немцев, месяцами лежавшие на «ничейной земле», вперед! Сквозь клочья колючей проволоки, в дрожащем свете взрывов и сигнальных ракет, вперед!

«Дриаду» впереди разносит в клочья прямым попаданием, во все стороны летят брызги ядовитой кислоты, опаляют атакующую пехоту, жгут шинельное сукно, жгут сталь «адрианок». Кто-то протяжно визжит, свистят осколки, ухаёт разрыв за спиной, барабанят по лопаткам комья земли, но все перекрывает шквальное «ура-а-а-а!!»

Дизельмех выныривает из клубов дыма. Покрытый сетями царапин и густой копотью, усеянный заклепками, неповоротливый и величавый. Из высоких труб валит пар, визжат и скрипят сочленения несущих опор. На поцарапанной лобовой броне чернеют кресты и готической клинописью выбито: *gott mit uns*. По бокам его пехотинцы прикрытия в касках с шишаками и газовых масках. На смотровых линзах пляшут блики пламени. Ревут «гатлинги», щедро сея свинцом, срезая передовую линию атакующих.

Ромашов выплевывает свисток, бьет из нагана в упор, пока за треском выстрелов не следует серия холостых щелчков. Выхватывает шашку – германец подступает, делает неловкий выпад широким штыковым лезвием – Ромашов рубит наотмашь по тупоносой личине газ-маски, похожей на свиную морду, по линзам, в которых пляшет огонь. По всей передовой кипит рукопашная, в ход идут уже не винтовки с револьверами, а страшное оружие траншейной войны – заточенные саперные лопатки, топоры и охотничьи ножи, самодельные палицы, дубинки с гвоздями, разбойничьи кистени...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.